

Ричард Десфрей



Задний двор



Ричард Десфрей

Задний двор

<https://litres.ru/73949889>

SelfPub; 2026

Аннотация

В нашу интенсивную, ускоряющуюся эпоху есть люди, которые ещё смолоду закрываются, огораживаются от общества, сберегая от покушений своё время, свои чувства и мысли, свои мечты и увлечения. Таких называют "не от мира сего", и живут они словно на заднем дворе дома, в котором гремит пустая вечеринка. Маленькие люди, счастливые в своих маленьких мирах. Но за всё приходится платить, и столь лелеемое одиночество может обернуться скукой, депрессией, неверием и безразличием к себе и к миру. И в таком случае спасением может послужить знакомство с родственной душой.

Содержание

Оглавление	4
1. ДВА ОСТРОВА	6
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Ричард Десфрей

Задний двор

Оглавление

1. ДВА ОСТРОВА
 2. АНТИ-ВСЁ
 3. ЖИВЫЕ И РАЗУМНЫЕ
 4. ДОЖДЬ
 5. ЛЕПЕСТКИ БЕЗУМИЯ
 6. МАЛЕНЬКИЕ НЕИСТОВЫЕ ВЕЩИ
- Камень, лист, дверь
У нас так принято
...и соковыжималку
Fahrenheit 97.9
Музей
X
По накатанной колее
Тринадцатый час
УМЛ
Изумлённый
По следу кролика
Позвольте мне не любить негров
Интермиссия

Моргает, дырявый

Неуют

Метаморфозы

Конец серебряной нити

Вскрыт

Что случилось с тобой?

Свет в окне

Уснуть побеждённым

7. ПЛАМЯ

8. СОН ПОД СОЛНЦЕМ

9. ИЗМЕНИТЬ МИР

1. ДВА ОСТРОВА

Сегодня как-то не заладилось. Получать упрёки всегда неприятно, тем более с утра после выходных. Тем более от женщины. Но ещё неприятнее — когда при этом не чувствуешь вины. Просто дети выводят меня из себя, особенно плачущие. Это полная дрянь.

Они прервали мой покой, когда я мирно размышлял, сидя в кресле, — молоденькая, младше меня, мамаша и её сопливое, ревущее чадо. Ворвались ко мне, как ураган в окно. Понятия не имею, что у них там произошло, да и не хочу этого знать. Она пришла купить ему какую-нибудь игрушку в качестве утешения за то, что сама же с ним наверняка сделала, а ребёнок действовал мне на нервы, отказываясь от всего, что ему предлагали. Его бледное лицо походило на скомканную бумагу, и на каждый её вопрос он пискляво кричал «Не-ет!», топая ногой и снова заливаясь плачем. А она всё приговаривала: «Не кричи, мой хороший... Не видишь, люди смотрят...».

Потом он начал колотить её и пинать. Её бесконечные вопросы только ухудшали ситуацию, зля этого психа ещё больше.

Я наблюдал за ними минут десять, в течение которых в моей голове раз за разом, становясь всё отчётливее, скла-

дывалась приятная злодейская картина: я подхожу к этому недоноску, поднимаю руку как можно выше, а затем со всей силы даю ему подзатыльник. Такой, от которого в глазах темнеет. Он отлетает к стене и падает, после чего смотрит на меня с невыразимым страхом, вообще потеряв умение производить какие-либо звуки. А я с жестокой ухмылкой смотрю то на него, то на остолбеневшую мать, после чего начинаю неистово хохотать.

Не знаю, что выражало моё лицо, когда я это представлял. Наверняка ничего, как обычно. Однако, сердце моё расстучалось не на шутку, словно готовясь к тому, что мозг сейчас примет какое-то тяжёлое решение. И я не знал, что это за решение такое, пока во мне не родилась роковая фраза, в один момент сокрушившая все барьеры на пути к голосовым связкам:

— *Заткните своего малолетнего дебила, а то я его прикончу.*

Интересно, что эффект, произведённый этим громким заявлением, почти равнялся эффекту от привидевшейся мне картины. За тем исключением, что больше всего это заявление ошеломило меня самого.

Помедлив секунд пять, она взорвалась потоком брани, так что я даже не смог бы объяснить, что пошутил. Хотя шутить вроде как и не собирался. Её искажённое гневом лицо стало похожим на лицо только что плакавшего ребенка, который теперь затих и с приоткрытым ртом наблюдал за своей роди-

тельницей.

Я же, по-моему, в эти минуты ничего не слышал. Нет, мне не заложило уши, но ругань её я воспринимал как белый шум на фоне собственных мыслей. А думал я о том, насколько мамочки привыкли к тому, что все вокруг сюсюкаются с их малышом, улыбаются ему и говорят о том, какой он хороший, — и тут внезапно натываются на искреннее раздражение...

— Я сейчас мужу позвоню! Он тебе такое устроит, что до конца жизни не забудешь! Фашист!

Тут я оторвал взгляд от пола и посмотрел прямо в глаза этой женщине. И подумал о её муже. Да, вполне вероятно, что это какой-то безмозглый бугай. Сейчас женщины других и не выбирают. Как, впрочем, и всегда. Им ни к чему философы, поэты и прочие мягкотелые особи. Нужны такие, чтобы могли и шкаф поднять, и по морде кому-нибудь съездить. А главное условие — абсолютная покорность истеричному характеру. Не муж, а раб. Эта такого нашла. И ей кажется, что её царствование над глупым индивидом продлится вечно — он всегда будет заезжать за ней, отказываться от пива с друзьями и тратить отпуск на капризы ребёнка, слушая её начальственные приказы и невротические претензии ради нескольких минут вымученного тепла, пока не проснулся их инквизитор. Но ей это только кажется. Ведь даже безмозглому хочется показать, что он не безмозглый. Поздние возвращения с работы, оставили на дополнительное время,

завтра тоже, а после шести он идёт к своей рыжей бестии, которая, как оказалось, живёт совсем неподалеку, страстные вздохи, после которых — просмотр семейных фото и критический анализ, осложнённый дурманом, который не выветрится, пока всё не будет кончено, надо выпить, куда же без этого, нет, не выпить, а хорошенько напиться, ведь предстоит праздник, и, сделав это, он предстаёт перед нею и уже без особого волнения и даже с некоторой долей романтики отрывает от себя всё то, что лишь несколько минут назад являлось его жизнью, думая только о том, что он в последний раз слышит этот голос, который, как ему кажется, вызывает у него тошноту, и тем же вечером она переезжает к матери, по пути выбросив из окна такси серьги, мешающие ей слушать того, кто их подарил, слушать жадно и вдумчиво, чтобы запомнить навсегда, выплавить чёрный блестящий шар для весов Астреи, который опустится вниз, навсегда лишив другую чашу возможности заполнить её сердце воспоминаниями о том, как всё начиналось.

Думая обо всём этом, я молча смотрел ей в глаза. И несмотря на то, что она продолжала орать, мне стало жалко эту дуру, которой суждено стать матерью-одиночкой, растящей ещё одного этиолированного сорняка с кучей комплексов и отклонений.

Она тоже не отводила глаз и, по-видимому, жалость в моём взгляде приняла за раскаяние в произнесённом, так как перешла с крика на повышенный тон. Но успокаиваться она

явно не собиралась. Я уже ожидал вопроса «Чего вылупил-ся?», на который мне было бы крайне трудно ответить, но тут, к счастью и сожалению, зашел Михей, который одной фразой — «Что здесь происходит?» — перенаправил поток на себя.

Поглотив излившуюся на его уши ярость, Михей взглянул на меня безо всякой тени свойственной ему улыбки.

— Это правда? Так всё и было?

Я кивнул. Он сделал мне выговор, представлявший собой довольно пространную речь о принципах работы с покупателями, о взаимном уважении, ответственности, репутации и еще о куче всякого дерьма, в которое он и сам вряд ли верил. Когда же он прерывал свою речь вопросом «Ясно?», я молча кивал, чувствуя благодарность за то, что он подаёт этот условный сигнал и тем самым даёт понять мамаше, что я внимаю его словам.

Впрочем, мой начальник знает мой характер. Да и сам он — тоже холостяк и, в точности как я, рассматривает брак и семью как величайший идиотизм в жизни человека. Этим он мне нравится, хотя больше у нас, кажется, нет ничего общего.

— Повторение инцидента — и ты уволен, — сказал он мне, всем видом стараясь показать, что это серьёзно.

Да, помнится, после обнаружения солидарности в этом вопросе мы лишь пару раз продолжительно побеседовали, а дальше возобновились работа и рутина. Потому что его хо-

лостячество не имеет с моим ничего общего. Он постоянно встречается с разными женщинами.

— Хорошо, — сказал я непонятно кому.

Чудо, что она не попросила извинений лично от меня. А то ведь я бы наверняка заупрямился, и весь этот детский понос зафонтанировал с новой силой. А так мне просто пришлось сказать:

— Хорошо.

Так мы и разыграли эту глупую комедию. Хотя он действительно уволил бы меня, будь я чуть наглее. Но у меня и вправду случился какой-то срыв, а не провокация, так что бояться нечего. И всё равно настроение у меня упало на весь день, который я провёл, кляня носом и с пустотой во взгляде ожидая приближения часовой стрелки к шести часам — чтобы уйти из этого проклятого магазина, отбирающего у меня треть суток.

Всё это время мои упования были обращены лишь на ясную вечернюю погоду. К счастью, интернет-прогноз её и не отрицал. Дождь должен был начаться только через три дня.

Михей проводил мамашу взглядом и, когда эта дура вышла, повернулся ко мне и почти ласково спросил:

— Да что с тобой такое?

Я скривил губы и махнул рукой, произнеся общее в таких случаях «Да...». А он добавил:

— Как маленький, ей-богу.

Я не подал виду, хотя это было последним штрихом к мо-

ему вконец испорченному настроению, которое ещё перед работой, несмотря на время года, было наполнено весенней свежестью. Штрихом тем более жирным, что он знал, как я обижаюсь на подобные сравнения.

Жаль отпуск взять нельзя — последний кончился всего-то неделю назад. Хороший был отпуск. Такой, о котором я и мечтал. Валялся на диване, читал, изредка заходил в Интернет, курил, глядя в потолок, — и все это без наличия рядом зарёванных детишек и их истеричных матерей. Полное одиночество, если не считать походов за покупками и ошибочных стуков в дверь.

Однако, этот отпуск в конечном счёте ничего бы не значил, если бы я наконец-то не нашёл её — свою Тайну.

Именно о Тайне я размышлял этим утром, когда меня вывели из себя. Думай я о чём-то другом, срыва бы не случилось. Скорее всего. Но размышления о Тайне были особым, ни с чем не сравнимым удовольствием. Они целиком заполняли моё сознание. Так что ничего удивительного в моей реакции, в общем-то, нет.

Вернувшись домой, я поужинал остатками завтрака и очень медленно выкурил сигарету, запивая каждую глубокую затяжку глотком тёплого кофе. Таков мой ежевечерний ритуал, который отлично помогает мне избавиться от всех неприятных ощущений, привезённых из магазина на автобу-

се. Ну, то есть, почти от всех.

Затем я выключил основной свет и зажёл висячую лампу над маленьким столом у окна.

Когда я заселялся, тут стояла обычная канцелярская настольная лампа, но в первый же вечер я вытащил из неё патрон, добавил к нему жестяной конус и повесил на провод, колышущийся от малейшего сквозняка. Тогда же на стене появилась дюреровская «Melencolia 1» — в виде распечатки, которую я приклеил к обоям кусочками скотча.

Передо мной лежал чистый лист бумаги в клеточку. Я подсчитал, сколько в нём квадратов по горизонтали, потом по вертикали. Разделил оба числа пополам. Отсчитал результаты по вертикали, потом по горизонтали. Затем воткнул острую ножку циркуля в полученную мной середину листа, а другой ножкой описал максимальную окружность. Графитовый стержень даже слегка полоснул по поверхности стола.

Некоторое время я смотрел на этот круг, пытаюсь понять, зачем я его очертил и что ещё можно тут нахудожничать. Но ничего в голову не пришло.

Вздыхнув, — впрочем, не от разочарования, — я выключил свет, надел куртку и вязаную шапку. А затем выкатил свою накрытую полотном драгоценность на задний двор.

Вечера наконец-то стали достаточно тёмными. Однако, вскоре наступят дожди, а следом — морозы. На холоде долго не постоишь, настраивать аппаратуру или записывать что-

то — даже в перчатках — станет невыносимо. Так что скоро мои вечерние бдения станут медленно сокращаться. Два часа, час, полчаса... Пока, наконец, я в отчаянии не брошу свои занятия до столь же непродолжительной весенней поры наблюдений, которую убьют светлеющие ночи. Лишь два кратких периода в году я могу заниматься любимым делом. Одна из главных причин ненавидеть город, в котором я живу.

Впрочем, выбор у меня был, хотя и небольшой. Потратить деньги на оборудование или же — переехать на Юг, найти новый дом и работу. Я выбрал первое и наверняка скоро об этом пожалею — как только спадёт эйфория от приобретения штук, о которых я так долго мечтал, и от Открытия.

Хотя, если подумать, эти варианты были практически равноценны. Если бы я переехал, то наверняка долго не мог бы устроиться, так как, по сути, ни на что не гожусь. За это время у меня кончился бы запас денег, не говоря уже о более печальных перспективах. Здесь же я остался при той же работе — хоть и не нравящейся мне, как любая работа, но приносящей стабильный доход. Остался в доме, к которому уже привык за несколько лет. В доме на окраине. В доме с задним двором, с которого так уютно смотреть на небо.

Я находил великое удобство в одной, на первый взгляд, незначительной особенности моего чёрного хода. Дело в том, что при весе всей установки под сто кило мне было бы

крайне затруднительно перетаскивать её даже через малейшие препятствия, а заниматься каждый вечер сборкой-разборкой вовсе не хотелось: это отняло бы целую кучу и без того драгоценного времени. Оставлять же установку на открытом воздухе, даже под навесом, было бы, разумеется, смерти подобно. Не говоря уже о совершенно фантастическом варианте создания вокруг неё крохотной сарай-обсерватории с обязательным отоплением и сухостью.

Поэтому я находил чуть ли не благословением свыше тот факт, что мой дом связан с задним двором двумя проёмами без единого порога.

От внешней двери прямо вперёд вела бетонная дорожка, оканчивающаяся кругом диаметром метра в три. По бокам от центра круга, словно дырки в пуговице, зияли два круглых отверстия — напоминание о том, для чего изначально была создана эта площадка. Ранее здесь буквой «П» стоял остов качелей, состоящий из двух широких труб, явно с отопительным прошлым, и одной поуже. Качели, в свою очередь, возможно, были убраны, чтобы использовать основание в качестве турника. Конечно, попытка вырвать эту перекладину из бетона как пить дать обернулась бы разрушением всей площадки — тем более, что по той, ввиду старости, уже побежало несколько трещин. Так что я предпочёл срезать эту «П» автогенном. Оставшиеся от неё туннели поначалу выводили меня из себя, так что я неоднократно собирался их зацементировать, но с течением времени привык обходить, не

попадая туда ботинком, — обходить так, словно они были не ямами, а невидимыми столбами. Я кидал в них окурки.

Где-то в метре от бетонного круга возвышался высокий, выше моего роста забор, которым была обнесена вся территория, примыкавшая к дому. В противоположность всему, что было в его объятиях, забор был относительно новым и, в отличие от других в округе, обит снаружи листами нержавеющей стали. Забор обеспечивал мне полное уединение, а также хорошо защищал от проклятых городских огней, уже давно отнявших звезды у остальных людей. В принципе, я мог тут хоть нагишом плясать, ибо в округе не было ни одного дома с более чем одним этажом. Правда, забор и сам скрадывал значительную часть неба, но тут уж приходилось мириться.

Весь остальной двор за пределами бетонного круга и дорожки был свободным театром разгула зелёных сил природы. Если раньше здесь и была какая-то упорядоченность, то она, похоже, исчезла ещё до моего рождения. Двор зарос высокой травой, ромашками, пижмой и в обилии — шиповником. В одном месте я нашёл даже куст одичавшей розы, так что, возможно, тут даже был когда-то небольшой сад, но других доказательств тому я не обнаружил.

Сейчас, в преддверии осени, трава уже пожухла и, словно поредев, стелилась по земле, обнажая обломки прошедшего века: сверканье битых водочных бутылок, разорванную резину сапог, чужеродную пластмассу вдрызг раскуроченной магнитолы и проржавевшие насквозь днища всмятку раздав-

ленных ведер.

Сверившись с гидом, я направил глаз телескопа на нужную мне точку звездного неба, подправил наводку микрометрическими винтами и припал к окуляру.

Конечно же, я не мог её увидеть. Даже будь в моём распоряжении самый большой телескоп в мире. Всё, что я видел — красноватую мерцающую точку. Тусклый красный карлик. Но результаты спектрометрии лежали на моём столе и неоспоримо доказывали: она там.

Сегодня никаких исследований я проводить не собирался. Разве что перепроверять результаты предыдущих, но и это я уже проделал вчера. И позавчера. Все возможные параметры я уже получил, а остальные, увы, не позволяли вычислить ни методы, ни аппаратура.

Настроив часовой механизм, я оторвался от телескопа и выпрямился. А затем, глядя на тысячи мерцающих огоньков, невольно задался вопросом: для чего же я тогда вышел?

Вопросом, на который, в принципе, сам знал ответ.

Просто так. Постоять, подумать, помечтать или повспоминать. Как я делал это ещё до того, как приобрёл телескоп, спектрограф, фотометр и кучу прочей вспомогательной техники. До того, как начал прошупывать безмолвную бездну над собой в слепой надежде, что найду что-то необыкновенное. То, чего не нашли ни Хаббл, ни Кеплер, ни космические машины, названные их именами. Что-то, что они пропусти-

ли, что ускользнуло от их любопытного взора, будучи слишком незаметным. Или же то, куда их взор ещё не заглянул.

Это были блаженные дни, подобные предвкушению праздника. Дни, когда мечта ещё не сбылась, но уже смутно маячила среди мыслей, которые кружились и сбивались, переплетаясь между собой в танце тихого счастья, которому ещё даже не нашлось причины. Мечта о вознесении сама была вознесением. Неоформившаяся, а потому неосязаемая, она приподнимала мою душу над обезображенной землёй, словно восходящие атмосферные потоки. Мечта, которая становилась тем желаннее, что казалась практически несбыточной. Мечта об исключительности и взгляде сверху вниз, преисполненном сокровенной насмешки над старым новым днём, который каждое утро обещает тебе показать весь мир, а к вечеру беспомощно ложится в прохладную могилу с извиняющейся эпитафией: возможно, завтра...

Но праздник наступил. Праздник прошёл. Его фейерверк догорал в моём сердце, и казалось, что всё предшествующее ожидание послужило для него топливом, которое взорвалось в ту ночь, как склад боеприпасов. Фейерверк посреди снежной пустыни, для превращения которой в цветущий оазис не хватило бы и тысячи сполохов...

— Можно посмотреть?

Я вздрогнул и обернулся.

Над забором у дальнего угла двора смутно белело чьё-то

маленькое лицо.

Девчонка.

— Нет. — От неожиданности я даже не узнал собственного голоса.

Она не ответила и даже не шелохнулась.

— Иди домой, — сказал я.

Как можно более грубо. Но она опять не пошевелилась. Я даже прищурился: на лицо ли я смотрю или же это какой-то лист бумаги, которым школьники решили поиздеваться над угрюмым нелюдимом?

Наконец, она сказала:

— Ясно.

Но белое пятно не сдвинулось с места, оставаясь там сиять застывшим призраком.

Мне стало не по себе. Тем более, что это «ясно» было сказано тем спокойным тоном, после которого герой дешёвого боевика обычно вынимает ствол.

Я отвёл глаза и снова стал смотреть в окуляр, хотя ничего, по сути, не видел, а только ощущал на себе пристальный взгляд — словно позади открылась настежь единственная дверь, защищающая меня от внешнего мира с его шумом и глупостью. Чтобы побороть это ощущение, я стал строить воображаемые линии между звёздами соседних созвездий с целью получить новые фигуры и представить, как могла бы выглядеть альтернативная карта неба.

Никогда не забуду того момента, когда меня пронзили звёздные иглы. Мне было лет семь, и мы с мамой возвращались вечером с отцовской работы. Стоял мороз, но дети — существа слишком мелкие и горячие, чтобы чувствовать его неприятные объятия так, как это чувствуют взрослые. Было ясно и безветренно, а воздух был необычайно прозрачен. Полоса дороги казалось чёрной бесконечной лентой, небрежно брошенной кем-то посреди моря мистически сверкающего снега. Мама посмотрела наверх, подняла руку и сказала: «Смотри». И я поднял голову.

Океан звезд ворвался в мои тогда ещё ясные глаза, лишь позднее испорченные книгами, компьютером и возрастом. Их было настолько много, что захватывало дух; казалось, в целом мире больше ничего и не существует. Бездонный колодец, занимающий весь небосвод, а в чёрной воде его — застывшая взвесь серебряного порошка. Однако, несмотря на это сравнение, я тут же догадался, что передо мной — не крохотные искорки, а невероятно далёкие, таинственные миры, чьё великолепие никогда не откроется нашему разуму во всей своей полноте. Я понял это, ещё ничего не зная о космосе, и это понимание наполнило моё сердце горячим счастьем: мир не изведан и никогда не будет изведан до конца, а значит — открытия никогда не прекратятся.

Мир не до конца осознан,
Небеса всегда в обновлениях,

Астрономы к старым звёздам
Добавляют новые.

Выучив впоследствии созвездия, я вскоре горько об этом пожалел. Теперь вместо калейдоскопической картины, поражающей рядового человека своей неизвестностью и постоянной новизной, я всегда вижу одно и то же. Мой разум находит знакомые сочетания, проводит заученные линии и делит небо на участки с безжалостно прямыми границами, как у стран Северной Африки. И получившаяся в итоге бессмысленная сетка, не более интересная, чем пустая шахматная доска, образует надо мной паутину, в которой застревает воображение. Закрытый свод — без глубины, без расстояния, без тайны.

Память о звёздном небе стереть нелегко. Я и не пытался. Вместо этого я предпочёл её обманывать.

И тут, с помощью какого-то безымянного чувства, — подобного тому, что позволяет некоторым слепым без прикосновения определить форму предмета, появившегося перед ними, — я ощутил, что взгляд, сверливший меня, исчез.

Я обернулся и посмотрел туда, где до этого маячил призрак. Темнота. На всякий случай, я подошел ближе и включил фонарь, направив его свет на угол забора.

Призрак пропал. Я даже подпрыгнул, чтобы осмотреться, но за пределами двора увидел лишь пустынную улицу с ред-

кими огнями.

Облегчённо вздохнув, я вернулся к телескопу. Подойдя к нему, я случайно направил фонарь на ближайший участок ограды.

Что за...

Луч фонаря выхватил из темноты её щуплое тело в чёрной кофте, уцепившееся руками за край забора. Несмотря на вытянутые ноги, ей не хватало до земли более полуметра.

Я вздрогнул и отпрянул.

— Помогите, — сказала она, заметив свою освещённость.

Но у меня пропал дар речи.

— Помогите. Я так долго не продержусь.

Во мне появилось острое желание уйти, пока я ещё не сказал ни слова. Ещё лучше — убежать со всех ног. Желание, подобное тому, когда впереди по улице замечаешь бомжа или скинхеда: не обращать внимания, не поднимать взгляда, не помогать, не лезть на рожон, обогнуть, пройти мимо...

Но бежать было некуда. Поэтому я спросил:

— Что ты делаешь?

— Я...

— Ты воровка?

— Нет.

Она висела неподвижно, а я разглядывал её тёмную фигуру в вязаной шапке. Давно я не видел чего-то более жалкого и беспомощного.

— Тогда зачем ты сюда залезла?

— Мне надо.

— Зачем?

— Поставьте меня, пожалуйста, на землю.

— За тобой что, кто-то гонится?

Пауза.

— Да.

— Так прыгай. Тут же невысоко.

— У меня пуговица зацепилась.

— О, Господи.

Я положил фонарь на землю. Сложив ладони, поднёс их к её правой ступне. Она освободила одну руку и отцепила свою чёртову пуговицу. Потом я резко убрал опору и поймал её за подмышки, после чего тут же поставил на землю и брезгливо развёл руки.

Подняв фонарь, я направил свет прямо ей в лицо. Она сощурилась и заморгала, причём после каждого хлопка веками направление её взгляда менялось.

— П-простите меня, — выдавила она.

Я склонил голову набок и приподнял брови.

— Я соврала. Никто за мной не гонится.

— Ну, я так и понял.

Довольно долго мы молчали. Я понятия не имел, что сказать. Она с усилием сжимала себе пальцы и, по-моему, дрожала.

Наконец, меня осенило.

— Ты, наверное, заблудилась?

— Нет, — ответила она. — Я вон там живу.

Она слабо махнула рукой на один из домов по ту сторону улицы. Это мало что прояснило. Я не был знаком ни с одним из своих соседей и не знал ни одной из их фамилий.

— Ясно. Тогда... Почему ты гуляешь здесь одна, вечером?

Она опять начала давить себе пальцы.

— Я не гуляю. Я... Мне надо, понимаете. Я очень хочу...

— Что ты хочешь?

— Посмотреть.

До меня дошло.

— Туда? — я кивнул головой в сторону телескопа.

— Да.

Я задумался.

— Девочка, тут... не парк аттракционов. Понимаешь? Извини, но я не могу пускать любого просто так смотреть на звёздочки. У меня профессиональное оборудование. Я исследователь.

— Да, я понимаю. Но мне... мне и не надо всех этих звёзд. Я хочу посмотреть только туда, куда смотрите вы... все эти дни.

— Дни? Погоди-ка...

Приоткрыв рот, я смотрел ей в глаза, пытаюсь припомнить, видел ли её когда-то. Лицо, без сомнений, казалось знакомым, но никакого конкретного эпизода с её участием память выловить не смогла.

Я отвёл фонарь в сторону.

— И как долго ты за мной шпионишь?

Она поправила шапку.

— Всё лето. Почти.

— Всё лето?

— Нет-нет, не всё. Не знаю даже... Сначала я за вами просто наблюдала, когда вы мне попадались. Вы же такой странный... Когда же вы купили трубу, я стала иногда подходить сюда. Просто из любопытства. Но после того вечера... я уже не могла терпеть.

Во мне что-то ёкнуло. Я тут же понял, что она имеет в виду, но всё же спросил:

— Какого вечера?

— Ну, того самого, пару недель назад. Это было что-то... что-то из ряда вон. Никогда бы не подумала, что взрослый человек может испытывать такой восторг.

И снова язык меня предал.

— А что было тем вечером?

— Откуда же мне знать? — её неожиданный прямой взгляд заставил заморгать меня самого. — Сначала вы что-то шептали себе под нос, крутили эти колёсики. — Она махнула рукой на телескоп. — Потом внезапно подпрыгнули на месте. У меня аж дух перехватило... И ещё раз. Опять вернулись к трубе...

— Это не труба, а телескоп. Самый настоящий телескоп.

— Да, телескоп. Так вот, вы долго рассматривали там какой-то листок. А потом испустили такой странный звук —

«Уи-и-и!»». Я вся съёжилась. А вы опять подпрыгнули. А потом, в конце, стали кружиться и плясать. Остановились, закурили и опять начали кружиться с сигаретой во рту.

Сомнений не осталось: она описывала День Открытия. Должно быть, я сильно покраснел, но, к счастью, темнота не дала бы ей это увидеть.

— Всё это выглядело довольно смешно, но я не засмеялась. Мне стало просто радостно.

— И что же дальше?

— Я была очень рада за вас, и мне захотелось узнать, что сделало вас таким счастливым. Но тогда я не решилась подойти. Потому что... потому что это был ваш вечер. Весь, без остатка.

Она снова надавила ладонью на голову, потом потянула края шапки вниз. Что-то ей мешало.

— И ты решила подождать?

— Да.

— Чего?

— Пока вы не окажетесь в нужном настроении.

Я хмыкнул.

— Видишь ли, сегодня я совсем не в настроении.

— Это я и имела в виду.

Я не стал уточнять. Мы замолчали. Она ещё раз поправила шапку, а потом, не выдержав, сняла её.

Густые тёмные волосы упали ей на плечи, смешавшись с сумерками и придав лицу завершённый вид. И только тогда

в моей памяти отчётливо предстала картина того жаркого июльского дня.

Около месяца назад я возвращался домой с покупками через безлюдный, замусоренный переулок. Навстречу мне шла какая-то девчонка. На голове у неё были большие наушники, и она что-то напевала вполголоса, увлечённо пиная крышку от пластиковой бутылки. Поравнявшись со мной, она звонко крикнула «Здравствуйте!», а я тихо буркнул что-то в ответ, лишь мельком взглянув на неё. Потому что люди с наушниками, в общем-то, не нуждаются в ответах, да и слишком часто в жизни я попадал в глупую ситуацию, когда отвечал на обращение не ко мне.

— Что ж, — сказал я, — я дам тебе посмотреть.

— Спасибо.

— Но недолго. К тому же, после этого ты сразу уйдёшь.

Она опустила глаза.

— Хорошо.

Тогда я картинным жестом пригласил её на своё место.

Она подошла к телескопу, откинула волосы за шею и наклонила голову. Только голову, так как росту в ней было не ахти. К моему удивлению, она смотрела в окуляр профессионально, не зажмуривая свободного глаза. Меня всегда бесило это зажмуривание. Хуже только, когда глаз ладонью прикрывают. Я считаю это вопиющим невежеством, хотя и не

могу объяснить, почему это меня так раздражает.

Смотрела она минуты две, не более. Затем выпрямилась и, подумав о чём-то секунду, взглянула на меня.

— Ладно, я пойду домой.

Я кивнул. Но тут вдруг осознал, что это будет не так-то просто.

Мой двор зарос настолько, что выйти к калитке, обогнув дом, стало практически невозможно: густые кусты шиповника отрезали путь с обеих сторон. Она бы изодрала себе всю юбку и расцарапала ноги. Тащить же её на руках я не собирался. Единственным способом, каким сам я попадал на задний двор, был чёрный ход, но использовать этот способ означало провести её через мой дом. А в дом я никогда и никого не пускаю. Даже на пару минут. Кроме, конечно, тех случаев, когда приём нужно оказать обязательно, но тогда я заранее готовлюсь к визиту и навожу необходимый порядок.

Уже, по сути, попрощавшись, мы стояли в растерянности. Я подошёл к забору.

— Как ты сюда попала? — спросил я, будто это помогло бы решению проблемы.

— Что?

— Забор слишком высок. Ты бы даже прыжком не достала до верха. Ты что-то там поставила?

— Да, я принесла маленькую стремянку.

У меня не имелось никакой стремянки. Перебрав в уме все вещи в доме, хоть немного похожие на неё, я не нашел

ничего подходящего. Похоже, не оставалось иного варианта, как поднять её на плечи. Не кровать же к забору тащить.

— А много их у вас?

Я повернулся. Она указывала на смятые вёдра.

— Целых, я имею в виду.

— Точно, — обрадовался я. — Поставим их друг на друга, и...

— И я дотянусь до верха. Не волнуйтесь, подтягиваться я умею.

— Я не за это волнуюсь. Твои родители часто разрешают тебе гулять по вечерам?

— Нет, совсем не разрешают. — Она сделала паузу и добавила: — Но сейчас их нет дома.

— А где же они?

— На даче.

Я уставился на неё.

— Они оставили тебя одну в доме? Быть не может.

— Ничего особого. Я умею настоять.

Я почему-то не поверил. Хотя, в принципе, врать ей было незачем. Уже незачем.

— А почему ты не захотела на дачу?

— Потому что я там была уже сто раз. Ничего интересного. А тут...

Она не договорила. Хотя в этом и не было необходимости.

Я сбегал в дом, принёс несколько вёдер, и мы соорудили из них колонну. Мне снова пришлось взяться за подмышки,

чтобы поставить её на верхушку этого сооружения, но тут уже ничего нельзя было поделаться. Всё лучше, чем задница на плечах.

Немного потоптавшись, проверяя надёжность конструкции, она повернулась ко мне и слегка склонила голову набок.

— Стало быть, пока?

Я посмотрел на неё снизу вверх. И в моей душе наступила смута.

Инстинктивная неприязнь. Жажда одиночества. Сохранение Тайны. Все они подсказывали мне простое решение — попроситься. Она обидится и больше не придёт. Она и сейчас наверняка уже обижена. Но какое мне до этого дело? Приглашений не поступало. Её интерес и слежка за мной — её личное дело. Я никак этого не поощрял. Я даже не знал о её существовании. Но, между тем, она ещё не сделала ничего, что подействовало бы мне на нервы. А её речь, столь несхожая с говором большинства детей, усваивающих мат раньше теоремы Пифагора, вызывала чёткое ощущение, что передо мной — ботаник. Но какого типа?

Она ухватилась руками за верх забора.

— Постой.

Не знаю, каким тоном я это произнес, но она мгновенно застыла.

— Что вы сказали?

Меня всё ещё терзали сомнения, но поворачивать назад было поздно.

— Ты не хочешь ничего сказать по поводу... того, что ты увидела?

Она отпустила забор и посмотрела на меня.

— Я так понимаю, вы открыли новую звезду.

Минус один, подумал я, минус один.

— Нет. Эта звезда давно числится в каталоге МАС.

— Тогда... значит, планету.

— А ты разве видела диск?

— Нет, я там видела только красную звезду. Думаю, вы открыли планету, которая обращается вокруг этой звезды.

У меня мысленно отвалилась челюсть. Хотя я не подал виду.

— С чего ты взяла?

— Как это с чего? А разве есть ещё варианты, кроме планеты, которая слишком тускла, чтобы её можно было увидеть рядом с материнской звездой?

Я остолбенел. Плюс десять, чёрт возьми. Нет, плюс тридцать...

— Всё верно, — сказал я.

Она опустила на корточки и подпёрла рукой подбородок. Я немного отступил назад.

— Вы уже отправили куда-нибудь заявку об открытии?

— Нет.

— Почему?

Я хмыкнул.

— Потому что это не принесёт мне денег. Да и славы тоже.

— Неверно, — задумчиво произнесла она. — Вовсе не поэтому.

— С чего мне врать?

— Почём я знаю? — Она встала на ноги. — К тому же, я не говорю, что вы врётё. Я знаю только, что вы не сделали этого совсем по другой причине.

— Это по какой же?

— Простой. Человеческой. Эгоистичной.

Я с любопытством смотрел на эту странную девчонку. Она возвышалась надо мной. Не так уж сильно, но возвышалась.

— Как только вы сообщите о новой планете — это открытие станет достоянием всего человечества, — продолжала она. — Вы останетесь первооткрывателем, но планета вызовет интерес других людей. Она перестанет вам принадлежать.

Этот внезапно возникший официальный тон меня здорово смутил.

— Она и так мне не принадлежит.

— Конечно. Ведь вы там даже не были, — произнесла она так, будто сама там побывала. — Но осознание того, что вы — единственный, кто знает о её существовании, вполне можно приравнять к принадлежности планеты только вам.

— Это преступление?

— Нет, — с равнодушной рассеянностью сказала она. — Да и я не судья. Хотя, если бы я была судьёй... я бы вас поддержала.

Я поднял брови.

— Почему?

— Не знаю. — Она помолчала и через несколько секунд добавила: — С одной стороны, вы лишаете человечество знания, но оно его всё равно когда-то получит. С другой — вы сами себя лишаете известности. Это похоже на жертву, хотя причины всё равно эгоистичны...

— Ставишь эгоизм выше тщеславия?

— Не знаю. Наверное. Эгоизм не так противен.

Последовал долгий взгляд. Наши души общались между собой без единого слова. Хотя вокруг и так стояла тишина, мне показалось, что она стала ещё глубже — будто весь мир наострил уши, безуспешно стараясь понять наш безмолвный разговор.

Я спросил:

— Как тебя зовут?

И она ответила:

— Мира.

Омикрон Кита, подумал я. И сказал:

— Спускайся, Мира.

И, впервые за этот вечер увидев на её лице улыбку, я подумал: не ради этого ли я сказал «Постой»?

— А что известно о планете? — спросила она.

Мы сидели перед телескопом, друг напротив друга, на вёдрах из разобранной колонны. Стало уже довольно холод-

но, но Мира совсем не дрожала, хотя и спрятала ладони в рукава кофты. Я боялся, что завтра у меня будет болеть горло.

— Она сферической формы, — ответил я.

— А серьёзно?

Я вздохнул.

— Не уверен, что ты всё поймёшь.

Она нахмурилась.

— Почему?

— Я не умею выражаться простым языком, а там сплошная наука. Было бы неприятно рассказывать, объясняя каждое слово. Но я и не желаю, чтобы собеседник ничего не понял.

— Я пойму, — твёрдо сказала она.

Я улыбнулся.

— Извини, но... сколько тебе лет?

Вопрос ей явно не понравился.

— Тринадцать.

Тринадцать!

— Это имеет какое-то значение?

— Да нет, в принципе.

Мне стало неловко за свой вопрос. Вернее, он вообще был не моим, а каким-то пришлым.

— Уверяю вас, я пойму.

— Как хочешь, — сказал я.

Планета открыта с помощью гравитационного микролин-

зирования, а спустя несколько дней её существование было подтверждено методом Доплера. Материнская звезда — красный карлик KBF 63949+10 — находится на расстоянии в 14000 световых лет от Солнца. Орбитальные характеристики планеты довольно странные. Эксцентриситет составляет примерно 0,7, период обращения — более 4000 лет. Большая полуось орбиты ≈ 270 а. е. Перицентр, соответственно ≈ 80 а. е, апоцентр ≈ 460 а. е. Данные параметры несколько напоминают аналогичные для Седны, однако, орбита планеты ретроградна, с наклоном в $250,3^\circ$ относительно звёздного экватора. Период вращения вокруг оси — неизвестен. Диаметр, а потому и плотность — тоже. Масса — более 8,5 земных. Химический состав поверхности определить не удалось, как не удалось установить и наличие атмосферы, так что трудно сказать, является планета сверхземлёй или мини-нептуном. Ввиду удалённости орбиты температуру поверхности можно крайне приблизительно оценить как 20-30 К — в зависимости от близости к перигею и альбедо, которое также неизвестно. Однако, если планета обладает сколько-нибудь значительной атмосферой или до сих пор поддерживает внутренний разогрев, эта оценка может быть значительно повышена...

Мира соскочила с места.

— Поразительно! — воскликнула она. — И как вы всё это узнали?

— Эм-м...

Я не ожидал такой реакции.

— Для этого я и приобрёл все эти штуки, — я махнул рукой на телескоп. — Впрочем, сейчас основная их часть находится у меня дома. Но дело не только в чувствительной аппаратуре — дело в терпении и упорстве. Хотя, как видишь, я всё равно узнал мало. Да и точность сильно хромает...

— Но и то, что получено... это же потрясающе! Да к тому же — самостоятельно, без чьей-либо помощи. И в таком неподходящем месте. Открыть планету...

— Экзопланету.

— Да какая разница! Чем это открытие хуже открытия Урана или Нептуна? Ничем! Какая разница, где находится планета? Она всё равно — планета. Нет, это невероятно! Никогда бы не подумала, что это можно сделать здесь...

Я с удивлением глядел на неё. Глаза её горели, не оставляя никаких намеков на малейшее притворство. И тогда что-то, зародившись в груди, жаркой волной прошло по всему моему озябшему телу, заставив вспыхнуть лицо. Избыток чувства, давно позабытого, как первые стихи, — захлестнул меня. И безо всякой скованности я произнёс:

— Спасибо.

Должен сказать, что я крайне редко благодарю людей. Нет, само слово «спасибо» я произношу довольно часто. Приходится. Но делать мне это так же противно, как смывать чужие

фекалии. Да, именно это чувствуешь, когда благодаришь не из чувства благодарности, а согласно правилам этикета. Да и вообще весь этикет — гнусная штука. Не хочешь говорить сам, но обижаешься, когда тебе не отвечают. Иногда я сожалею, что люди не могут общаться одними глазами вместо всех этих «привет», «здравствуйте», «пока», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «приятного аппетита», «спокойной ночи»... Правда, это бы привело к другим проблемам — например, к необходимости постоянно поворачиваться к собеседнику лицом. Да и сложно представить, что человек сможет выразить что-то предельно ясно таким способом, когда он и словами-то орудует немногим лучше, чем медведь капканом.

И после того, как обдумаешь вариант возврата к каменному веку жестов, а также телепатического будущего, начинаешь понимать, что не этикет как таковой вызывает в тебе отвращение, а его главная, осевая черта — повторяемость, которая не исчезнет ни в какой его ипостаси. Повторяемость, столь ненавистная любому творческому уму, так как не оставляет последнему никакой надежды.

Но сейчас я не узнавал себя. Это вырвавшееся из меня «спасибо» не было фальшивым, и я понял — почему. Моя душа невероятно истосковалась, изболелась по искренности. Искренности признания того, что твоё дело — не пустая трата времени, не детские игрушки, не бессмысленные манипу-

ляции. Я тосковал по этому всю жизнь.

Я сменил множество хобби, но ни одно из них не находило понимания среди моих родственников и знакомых. Вместо этого я слышал только постоянные упрёки. «Это не принесёт тебе денег». «Это не сделает тебя успешным человеком». «Занялся бы лучше чем-то полезным». «Твои ровесники уже так многого добились, а ты до сих пор сидишь на месте». «Женился бы уже — всю дурь из головы сразу бы вышибло». И это лишь самое мягкое.

А горестнее всего мне становилось тогда, когда человек, казавшийся мне тем самым, долгожданным братом по духу, узнав о моих увлечениях, задавал простой, односложный вопрос, надолго отнимающий у меня охоту продолжать своё дело, а порой и вовсе убивающий это желание:

«Зачем?».

Как голое дерево, ждущее весну, моя душа все эти годы ждала признания в обмен на признательность. И вот неожиданно оказалось, что мне не особо-то и нужно мнение тех, кто старше и опытнее меня. Не нужно памятников после смерти, которых я всё равно не увижу. Не нужно похлопываний по плечу от седых профессоров, президента или даже Нобелевского комитета. Ибо я думаю, что никто из них не смог бы подарить мне большего ощущения своей полезности и значимости, чем эта маленькая, невзрачная девчонка-из-за-забора, для которой мои жалкие исследования были самым важным делом на свете.

— Вы ведь уже назвали её? Какое у неё имя?

Я поморщился.

— Вообще-то, личные имена экзопланетам не дают. Их называют по имени звезды. К примеру, наша звезда называется КВФ 63949+10. Тогда первая обнаруженная в её системе планета будет названа КВФ 63949+10 b. Следующая — КВФ 63949+10 c. И так далее.

Теперь поморщилась она.

— Фу, уродски. Представляю, как человек говорит: «Я полетел на КейБиЭф шестьдесяттритьсячидевятьсотсорокдевятьплюсдесять си».

— Это было бы уродски, если бы люди летали к этим планетам. Но пока это — лишь номера в каталоге. Никто их, по сути, и не произносит. Их только пишут. И такие названия очень удобны для номенклатуры...

— Всё равно уродски.

Я пожал плечами.

— Неужели никто не даёт планетам нормальные названия?

— Почему же, дают. Только неофициально. 51 Пегаса b, например, некоторые называют Беллерофонтом. А ещё есть Осирис...

— Ну, это тоже не то.

— В смысле? — не понял я.

— Я имею в виду... Почему мы вообще должны называть

звёзды и планеты уже затасканными именами? Ведь это совершенно новые миры! Почему нельзя выдумать абсолютно новое слово, обозначающее только имя небесного объекта и ничто другое? Ведь столько разных слов крутится на языке, ожидая своего произношения и вхождения в мир...

— Каких таких слов?

— Да всяких. — Она закатила глаза. — Ташладак. Рудгав. Глуфаций. Зез. Кафликун. Цлак. Певинака. Кулубрик. Нилиппантра. Дас-а-Крух. К`хланш. Кудажав. Дапра. Тидруни...

— Похоже на ответы к кроссворду Антона Ольшванга, — усмехнулся я. — Ладно, ладно. Я тебя понял.

— Так почему?

— Не знаю. Либо людям нравится вносить дополнительный смысл в старые слова, либо...

— Воображения не хватает.

— Ну да. Возможно, звёзды и планеты должны называть дети. Вроде тебя и Венеции Берни. Хотя, если подумать дальше... кто дал нам право давать имена звёздам и планетам? Или вообще называть их звёздами и планетами? Ведь они неизмеримо старше и могущественнее нас.

Она прищурилась.

— Я тоже об этом не раз думала. Но сейчас вы, кажется, издеваетесь.

— А ты проникательна, — заметил я.

— Нужны же хоть какие-то обозначения. Не для них, а

для нас.

— Само собой.

Она некоторое время постояла, устремив свой взгляд в ту же сторону неба, что и телескоп. Губы её шевелились, порождая еле слышимые звуки.

— Что ты там бормочешь? — спросил я.

— Вы должны дать этой планете имя.

— Я?

— Да. — Она подняла брови. — А вы что...

— Сомневаюсь, что мне нужно какое-то имя. Достаточно и того, что я о ней знаю.

— И как вы её будете называть?

— Так же, как и называл — просто планетой. А если у меня когда-то будут брать интервью, то — КейБиЭф шестьдесяттритьсячидевятсот...

— Но как же так? Я просто не понимаю, как можно оставить планету безымянной.

— Так придумай имя сама.

Её глаза расширились.

— Я? Я одна? И вы не против?

— Нет. Да я и не могу этого запретить.

— Почему? Ведь это ваша планета.

Я улыбнулся.

— Я никогда не умел выдумывать названия. Ни для чего. Сколько раз пытался — всё без толку. Получается либо уже существующее имя, либо что-то совсем дурацкое. Если эта

планета и должна иметь название, то никто не даст ей худшее имя, чем я. Попробуй лучше ты.

Вид у нее был недоумённый, но она сказала:

— Ладно.

А я задумался.

Дело в том, что до сего дня у меня и вправду даже мысли не было давать планете какое-то имя. Странно и даже несколько печально, но объяснение тут простое: названия без общения — ничто. Человек на необитаемом острове не говорит себе «Я беру камень» или «Это дерево слишком тонкое». Он не произносит этого ни вербально, ни мысленно. Процесс мышления не принимает названий, он оперирует образами. Проще говоря, если тебе не с кем разговаривать — то нет и никаких слов.

— Это слово должно быть абсолютно новым, — сказала она.

— Ну, это я уже понял. Ты тут назвала несколько имён, можешь выбрать любое из них. Мне-то всё равно, потому что сам я...

— Нет-нет, слово должно быть совсем новое и... *пустое*. Оно должно не то что ничего не обозначать, но даже не быть похожим на слух на другое слово. Оно не должно вызывать ассоциации — ни с мифологией, ни с историей, ни с географией. Не должно быть анаграммой или аббревиатурой.

Не должно быть шито из частей каких-то слов. Не должно быть...

— Угу, — перебил я, — оно просто не должно быть.

— ...похожим на чье-то имя. Не должно звучать ни по-толкиеновски, ни по-лавкрафтски. Не должно звучать так, будто произнесено на каком-то смутно знакомом языке или диалекте. Не должно обладать родом, склонением и ударением на какой-либо слог. Оно должно быть совершенно пустым звуком — сосудом, который ждёт наполнения. В идеале оно, конечно, вообще не должно как-либо звучать...

— Ну-ну! — усмехнулся я. — Удачи в выдумывании такого слова.

Она промолчала и начала ходить взад-вперёд — сгорбившись, заложив руки за спину и без перерыва что-то шепча. Сделав несколько своих детских шагов и оказавшись на краю площадки, она нелепо-артистично разворачивалась на левой ноге и шла обратно. Выражение лица её было предельно сосредоточенным и, в то же время, — совершенно отсутствующим. Понаблюдав за ней пару минут, как за ходиками, я тихо прыснул: пародия на учёного, разрешающего великую головоломку, была столь ужасна, что вызывала смех. Она не обратила на это никакого внимания и продолжала ходить.

Минут через десять её лицо стало проясняться. Нет, сосредоточенность с него не ушла, но углы губ приподнялись над линией рта, а глаза засветились странным маниакальным светом. Шёпот её стал отрывистее и громче, хотя я всё равно

ничего не мог разобрать.

И тут случилось неожиданное: коротко вскрикнув, она разомкнула руки и упала лицом вниз. Послышался страшный, тупой звук удара её лба об бетон.

Я дико перепугался. Хотя мне и ранее случалось видеть эпилептические припадки, этот был каким-то уж совсем странным и внезапным. С трудом придя в себя, я подбежал к ней, чтобы привести в чувство, но, к моему великому облегчению, она уже сама поднималась, держась за ушибленную голову.

— Что такое? — спросил я.

— Что там... — её лицо все сморщилось от боли, — что там за яма?

Я тут же понял, куда она угодила ногой.

— Тебе больно?

— Конечно, — ответила она.

— А кровь идёт?

— Нет.

— Ты здорово грохнулась. Может, тебе в больницу надо?

— Ерунда.

Она села на своё ведро, одной рукой потирая лоб, другой — лодыжку пострадавшей ноги. Не зная, что мне ещё сказать, я спросил:

— Так ты придумала?

Она посмотрела на меня, не сразу поняв вопроса. Потом кивнула.

— Да. Кажется.

— Может, озвучишь?

Несмотря на боль, она улыбнулась и почти шёпотом произнесла краткое имя.

— Как? — переспросил я.

Она снова произнесла его, уже погромче. Но я всё равно не понял.

— Как?

Тогда она поднялась на ноги, набрала в лёгкие побольше воздуха и крикнула прямо в небо:

— Кюнэй!

История Кюнэй насчитывает более 11-ти миллиардов лет, что делает планету, по астрономическим меркам, почти ровесницей самой Вселенной.

Изначально планета представляла собой газовый гигант, сформировавшийся на орбите вокруг крупной белой звезды спектрального класса В7 из шарового скопления, которое, в свою очередь, располагалось в одной из первых небольших галактик, поглощённых молодым Млечным Путём. Из четырех крупных планетезималей Кюнэй была наиболее удалённой от светила, что послужило главным фактором её последующей судьбы. Спустя всего лишь несколько десятков миллионов лет после формирования планетной системы, её родительская звезда взорвалась как сверхновая, в результате чего Кюнэй получила мощное ускорение и оставила ор-

биту, потеряв по итогам катаклизма всю свою водородную атмосферу и большую часть мантии, а также все полусформировавшиеся спутники, которых, согласно знаниям мюввонов, было пять. Несмотря на катастрофические последствия, именно диссипация газового слоя спасла Кюнэй от полной гибели — как испаряющееся цинковое покрытие сохраняет целостность ракеты при её трении о воздух. В результате от планеты осталось металлическое ядро с силикатной оболочкой общей массой около 8,5 земных. Остальные же планеты в системе были полностью разрушены.

Скорость Кюнэй после взрыва была настолько велика, что позволила ей покинуть пределы шарового скопления. Около трёх миллиардов последующих лет планета блуждала по Галактике, постепенно охлаждаясь и замедляясь под воздействием гравитации окружающих тел.

Самым вероятным сценарием дальнейшего развития событий, помимо бесконечного свободного полёта, было бы попадание планеты в систему крупной звезды, способной её задержать и ухватить. Однако, так случилось, что, испытав значительное торможение в поле тяготения красного гиганта, Кюнэй всё же оторвалась от него, попав в плен находящегося поблизости обыкновенного красного карлика KBF 63949+10 с недоразвитым протопланетным диском.

Кюнэй начала обращаться вокруг звезды по довольно сильно вытянутой ретроградной орбите, внося возмущения в окружающий карлика кометный рой. Это привело к рас-

сеянию облака, часть которого выпала на планету ледяным дождем. Падение сопровождалось разогревом, расплавлением и испарением кометных частиц. К тому же, сильные удары снаружи способствовали пробуждению дремлющего тепла внутри: последние порции тягучей магмы вырвались на поверхность и в последний раз изменили её, выпустив остатки удушливых газов. Пары же метана, аммиака, азота и прочих летучих веществ позднее собирались в облака, изливавшиеся на планету мощными ливнями. Так, на некоторое время, Кюэнэй снова обзавелась атмосферой и климатом, хотя и радикально другими, чем её горячее прошлое.

Но сохранению этих достижений препятствовала её слишком сильная удаленность от красного карлика: даже в периферии при нулевом альбедо нагревание, вызванное излучением звезды, не способно было бы вызвать потепление поверхности планеты свыше 50 К. Преодолению этого порога не содействовал бы и эксцентриситет орбиты, компенсирующийся удалённостью и крайне долгим периодом обращения. Посему, когда кометная бомбардировка пошла на убыль, баланс между нагревом и отдачей тепла вакууму естественным путем сместился в сторону последнего, хотя наличие облаков, экранирующих инфракрасную радиацию, позволило на некоторое время задержать этот процесс. Тем не менее, началось глобальное похолодание, а затем и оледенение. Из-за разнообразного состава атмосферы оно прошло в несколько этапов, в результате чего на планете образовался дифферен-

цированный глобальный замёрзший океан: слой аммония на дне, выше — метановый лёд, а на самом верху — корка азотного льда.

Застывший океан покрыл собою почти всю поверхность планеты, кроме двух возвышенностей, образовавшихся ещё во время взрыва сверхновой. Так появились два острова — Рэниш и Катлуада.

Остатки газов ещё многие тысячи лет медленно выпадали на замороженную поверхность в виде осадков, представлявших собой нечто среднее между снегом и мелкозернистым льдом. В результате вся Кюэнэй покрылась белым покровом, который только ещё более понизил температуру поверхности, увеличив отражательную способность планеты.

И прошло ещё около пятисот миллионов лет, в течение которых на планете ничего не происходило: всё та же бесконечная снежная пустыня без каких-либо признаков разнообразия, а наверху — чёрная пустота с ярким разноцветьем звезд, никак не рассеивающих холод и тоску этого мира, который, несмотря на необычное прошлое, похоже, завершил свою эволюцию, став никому не нужным гигантским ледяным шаром. И ничто — ни на земле, ни в небе — не предвещало перемен, которые могли хоть каким-то путём разбудить это царство вечного покоя. Пока...

— Что — пока? — спросил я.

Мы снова сидели на вёдрах, на этот раз прикрыв ими про-

клятые отверстия в бетоне.

Но Мира застыла, приоткрыв рот и смотря остановившимся взглядом куда-то мимо меня.

— Что — пока? — повторил я.

— Ничего, — ответила она. — Я ещё не знаю.

— Не придумала?

— Не знаю, — повторила она.

Мы помолчали некоторое время. Похоже, Мира обдумывала свой рассказ гораздо глубже, чем я. Впрочем, я почти его и не обдумывал, все еще ошарашенный тем, что встретился с вундеркиндом, который так долго живёт со мной по соседству.

— Ну, по крайней мере, ты не упомянула, что ядро планеты состоит из сплава флеровия и унбигексия, — усмехнулся я, хотя в этот момент мне совсем не хотелось ни умничать, ни глумиться. — Тогда бы я уж точно не поверил твоей истории.

Мира перевела свой странный взгляд на меня.

— Эта история только началась, — сказала она.

— Нет, — сказал я, — ничего подобного. Что бы там ни произошло, мы видим... ладно, не видим, но знаем конечный результат: планета превратилась в огромный ледяной шар с температурой под абсолютный нуль.

— Я этого и не отрицаю, — сказала она. — Глупо было бы отрицать факты.

— Тогда что? Хочешь сказать, что на планете зародилась

жизнь?

— Нет.

— Да это и невозможно. С таким-то составом, температурой и орбитой...

Она промолчала.

— Или, быть может, ты хочешь сказать, что планету заселили пришельцы?

— Нет. — Она прищурилась. — А почему вас вообще это так интересует?

— В каком смысле?

— Вы сказали, что вам абсолютно всё равно. Что вы просто открыли планету, измерили её параметры, и на этом ваше любопытство удовлетворено.

— Верно.

— Тогда к чему вопросы? Ведь, судя по всему, вас совершенно не интересует то, чего нельзя проверить.

Я облизнул губы.

— Да, меня интересуют только фактические данные. Просто... просто я люблю критиковать всякую ахинею.

Непонятно почему, но она улыбнулась.

— Хорошо, — сказала она, а потом посмотрела на часы.

— Я, пожалуй, пойду. Поздно уже.

— Вот и славно, — выдохнул я.

Мы снова сложили ведра стопкой. Я помог ей подняться, а она доказала, что умеет подтягиваться.

— Пока, — сказала она, когда её лицо уже скрывала огра-

да.

— Береги голову, — сказал я.

Некоторое время я продолжал стоять возле забора. Возврат к одиночеству, которое лишь недавно было лучшим из состояний души, оказался слишком внезапным и болезненным. Улетучившись на всё время разговора с Мирой, оно словно побывало в неведомых краях за границами мироздания, принесся на своих крыльях моего старого недруга — чёрную тоску. Врага, с которым я сражался долгие годы, так и не сумев победить до конца. Врага, который теперь уверенно выходил на арену очередной дуэли, заручившись, как и любой трус, поддержкой бескрайнего мрака, всегда готового принять обличье своего союзника и стать им.

Но ни я, ни мой противник не знали, что, сделав несколько шагов, он споткнётся и упадёт, мгновенно потеряв величие и надежду на ближайшую победу.

Ибо меня посетила неожиданная мысль: Мира ушла слишком бесшумно. Я даже не слышал, как она сложила стремянку. Не слышал шуршания травы. А вдруг... вдруг она тоже до сих пор стоит там?

Стараясь не шуметь, я подошел ближе и приложил ухо к забору, изо всех сил стараясь отыскать в монотонном пении ночи какой-либо диссонанс.

Ничего. Только еле слышимое бормотание телевизора из соседнего дома да отдалённый лай враждующих собачьих

кланов.

Впрочем, она могла делать то же самое.

Постояв ещё немного, я улыбнулся собственным мыслям. А затем вернулся к телескопу и снова приставил глаз к окуляру.

Звезда была там. И планета, конечно же, тоже, пусть и невидимая. Но, глядя на них в телескоп, я видел теперь совсем не то, что видел ранее.

Вместо красной мерцающей точки пред моим взором возник висящий в чёрной пустоте огромный красновато-жёлтый шар кипящей плазмы с полупрозрачной короной, пятнами и протуберанцами. Шар медленно вращался вокруг оси, и мне даже показалось, что я чувствую на своих щеках исходящий от него жар — словно прямо перед лицом распахнули печную дверцу. Затем шар отступил, а взор мой стремительно понёсся к незримой точке чуть сбоку от него. Десятки астрономических единиц пронеслись с невообразимой скоростью — и вот он передо мной. Другой шар, полная противоположность первому, медленно продолжающий свой век по гигантскому эллипсу орбиты. Замёрзший океан, скрывающий сортированный лёд. Красновато-белый снег, терзаемый жёстким космическим излучением. И две возвышенности, разделённые тугим телом планеты.

Кюнэй...

Я хмыкнул и промолвил:

— Инопланетянка.

Рот мой растянула произвольная улыбка. Я закусил нижнюю губу. И только тут вспомнил, что не спросил Миру о том, кто такие мюввоны.

Вернувшись домой, я выкурил сигарету. Сквозь холодное стекло мерцали искажённые точки звезд. Затем я зажёл свет.

Некоторое время я в нерешительности стоял перед столом, уставившись в чёрное окно и думая о прошедшем вечере. В конце концов, от этих размышлений у меня скопились зрачки и замылился взгляд. Тряхнув головой, я опустил глаза долу. Передо мной лежал всё тот же тетрадный лист.

Я перевернул лист и, присмотревшись к нему, нашёл в центре окружности крохотную дырочку. Воткнув в неё ножку циркуля, я начертил окружность, идентичную той, с другой стороны. Сверяться в их размерах не понадобилось — ведь границей служил край листа.

Затем, чтобы оставаться честным до конца, я снова перевернул лист. И, взяв красный карандаш, написал большими буквами в левом верхнем углу листа:

КЮНЭЙ

Затем, подумав ещё пару секунд, добавил чуть ниже:

Полушарие 1

Взяв простой карандаш, я опустил его на бумагу недалеко от центра окружности и закрыл глаза, постаравшись ни о чём не думать, кроме как о замкнутости формы. Именно о

замкнутости, а не о самой форме. Затем позволил руке сделать серию прерывистых, но не резких движений...

Открыв глаза, я посмотрел на результат. Перевернув карандаш и стерев лишние черты, я получил контур, не вызывающий у меня никаких ассоциаций — ни с предметами, ни с понятиями. Просто очертания неведомо чего, подобные разве что пятнам на стене от сорванных обоев. Подобные только своей аморфной непостижимостью. Отдельный участок этого контура ещё можно было принять за некий «клюв», но с очень большой натяжкой.

Снова перевернув карандаш, я написал им наискосок, чтобы захватить как можно больше очерченной площади:

Рэниш

Разглядывая полученную картинку, я подумал минутку и стёр внутреннюю надпись. Вместо этого я написал за пределами контура, возле его нижней части довольно мелкими буквами:

о. Рэниш

И опять перевернул лист...

Границы Катлуады получились гораздо более плавными, почти не изрезанными мелкими полуостровами и бухтами. Я даже хотел стереть её очертания и попробовать снова — настолько она казалась мне неправдоподобной, игрушечной, как континенты на примитивных картах Древнего мира. Но всё же я не стал этого делать. Ни общей формой, ни её частями Катлуада вообще ничего не напоминала. Размером она

была примерно в полтора раза больше Рэниша.

Закончив работу, я выключил свет, снова закурил и стал смотреть на звёзды сквозь неровное стекло. Приближалась полночь.

А на кухне, в другом конце дома, в глубине окна на дальнем небоскрёбе горела неоновая надпись: вЦти. Именно так: «Ц» — большая, жёлтая, письменная, остальные — маленькие, красные, печатные.

Ни тогда, ни после я так и не понял, что это значит.

2. АНТИ-ВСЁ

В желудке урчало, но я сидел в кресле и слушал «Троллейбус 27», иногда вытаскивая из носа козюли и украдкой вытирая их о нижнюю поверхность подлокотника. Настроение было прекрасное, хотя и не настолько, чем пару минут назад, когда играли «Колумбийские клубни».

Как давно я притащил из дома наушники MDR-XD100 — я уже и не помню, но это единственная личная вещь на моём рабочем месте. Мозг убивает, как люди могут слушать музыку с телефона через всякие «капли». Звук ведь — полное дерьмо. Искажает голос, проглатывает целые риффы. Как через стенку. Разумеется, тут многое зависит от самого телефона и настроек эквалайзера, но убогая мелочь, засовываемая в ушной проход и хронически из него выпадающая —

дерьмо всегда. Если, конечно, слушаешь не рэп или клубняк. Там и динамик от тамагочи подойдёт.

Дослушав песню, я снял наушники и шумно вздохнул, наслаждаясь тишиной в магазине, солнечным днём за окном и тем фактом, что сейчас мне ничего не надо делать.

— Ты сегодня какой-то странный.

Я почти забыл о присутствии Михея, пока тот разбирался с бумагами — похоже, касательно аренды.

Я вопросительно уставился на него. Он добавил:

— Уволиться, видимо, хочешь.

— Да ну? — улыбнулся я. — С чего бы это? Это же лучшая работа в мире. А детишки — это ведь такая прелесть!

— Побрился бы лучше, клиентуру пугаешь. — Он подписал лист и начал, хмуря брови, рассматривать следующий. — И будь так добр, прими уже душ, пока твоими подмышками весь магазин не провонял.

Я приподнял руку и понюхал влажное пятно на футболке. Почему-то именно музыка заставляет меня сильно потеть.

— И зубы твои... Ник, я тебе сто раз говорил, чтобы ты их почистил. Как об стенку горох... — Михей опустил руки на прилавок и обратился к потолку: — Ей-богу, не понимаю, чем этот человек занимается после работы.

Он перевёл взгляд на меня, ожидая ответа. Но, поняв, что этой сентенцией вызвал только обиду, тут же махнул рукой и снова принялся за бумаги.

А я опять надел наушники и включил «День Рождения».

Особую остроту этой песне неизменно добавлял стоящий через дорогу мясомолочный магазин. Однако, решив, что это явно недостаточно, я тут же переключился на «You Tørn Is Over» и закрыл глаза.

Прелесть этой песни в том, что её текст не связан с какими-либо вещами и событиями. Это песня-настроение. Поэтому под неё можно рисовать себе множество картин.

Обычно, когда я слушаю её, то представляю победу злого шахматного гения, вроде Фишера, над сильным, но человеческим соперником. Злодей нависает над доской и тычет в противника пальцем, без удержу хохоча над чужим интеллектом. Его разрывает от смеха, от чувства превосходства, он упивается торжеством своего разума. А противник, взяв голову в руки и изо всех сил стараясь не выйти из себя, отчаянным взглядом ищет на доске решение, которое могло бы отвратить позорный финал. Или хотя бы отсрочить его на несколько ходов. Любой финт, любую хитрость, которая помогла бы ему почувствовать себя достойнее. Помогла хоть на минуту погасить огонь этой дьявольской насмешки, которая запомнится ему навсегда. Но — безнадёжно.

Однако, сегодня я решил снять для этой песни другой клип.

Ритмические сбивки в начале. Экран то озаряется изображением меня, задумчиво идущего по улице, то — прова-

ливается в черноту. С последними двумя ударами перед началом безумия я быстро вынимаю руки из карманов. В одной из них — пистолет, в другой — кувалда огромного размера. Больше меня самого. Непонятно, как она там уместилась. Но это и не важно. Я оглядываюсь вокруг, ища объект, с которого было бы приятнее начать, и много времени это не занимает.

Я обрушиваю кувалду на близстоящий автомобиль — серебристую, свежeweымытую иномарку. Кабина сплющивается, проседает до земли, стёкла вылетают на дорогу крупными осколками — со всех четырёх сторон. Дико взывает сигналка, но второй удар её затыкает. Потолок кабины срастается с полом, сидений не видно, их сжало чудовищным давлением. Машина явственно напоминает смятую ногой банку из-под пива.

Топот и крик отвлекают меня от любования полученной картинкой. Я оборачиваюсь и вижу, как ко мне с разъярённым лицом бежит лысый толстяк в чёрном костюме. Очевидно, хозяин авто. Он несётся, потея от натуги и беспрерывно извергая маты. Но я не хочу его слушать и поднимаю пистолет.

Выстрел. Пуля попадает в живот, ноги толстяка тут же прекращают работу. Он успеваеt схватиться за брюхо, но тело, не выдержав инерции, плашмя падает на мостовую. Слышен громкий шлепок, и тут же — глухой удар черепа об асфальт. Не знаю, разбил ли он себе башку. Мне плевать.

Я слышу громкий, почти синхронный возглас десятков ртов и понимаю, что уже в центре внимания. Но это меня не останавливает. Ударом просунув кувалду в стеклянную галерею, я берусь покрепче за рукоятку и несусь вдоль здания. Стекло лопается и разлетается брызгами, как от серии взрывов. Боёк опрокидывает и ломает пластиковых манекенов с одеждой и украшениями. На последних метрах под его удар попадают две молодые женщины, примеривающие высокие сапоги. Удар приходится ниже пояса, ломает им ноги, и они, высоко взвизгнув, по очереди совершают кувырки, больно падая на спину.

Вытащив кувалду из галереи, я оглядываюсь вокруг и замечаю, что на меня обращены все взгляды. Они не сбежали. Наоборот, сбились в толпу. Как сельди. Каждый из них исполнен уверенности, что безумие затронет соседа. Вон того. Или этого. Но только не его, этого не может случиться. Он бессмертен. Его вообще тут нет. Он сидит дома и смотрит этот фильм по телевизору.

Но я разбиваю экран.

Пуля за пулей входит в застывшие от страха тела. После нескольких выстрелов толпа, сбросив шок, в ужасе рассеивается. Я вижу спины. Одни спины вокруг. Я стреляю по этим спинам. Ни разу не промахнувшись, ни разу не задержав взгляда на падающем теле.

Сирена. Я слышу надвигающийся, раздражающий вой. Идиоты. У них был шанс переехать меня, если бы они не

включили эту дурацкую визжалку. В таком шуме я бы не успел услышать рёв мотора.

Я поворачиваюсь и вижу её. Она ещё далеко, но мчится на меня с настойчивостью гоночного болида. Она впереди. Прямо впереди. Впрямеди.

Замахнувшись и выждав время, я отскакиваю в сторону и бью кувалдой прямо по бамперу несущегося чудовища. Трезвящий, тяжёлый, как подземный взрыв, удар сотрясает воздух. Сила действия равна силе противодействия. Машина мгновенно останавливается, боёк застревает внутри изувеченного капота. Полицейские мертвы. Один наполовину торчит из остатков лобового стекла, чьи края проткнули ему живот, другой — разбрызгал свою голову по приборной панели. Я яростно освобождаю кувалду из плена покорёженного металла и наношу ещё один удар. Машину вместе с телами отшвыривает на десяток метров, она пробивает стену ателье, вспыхивает и загорается.

Улица уже пустынна. И в ожидании следующего визита воинов порядка я захожу, наконец, в мясомолочную лавку, где хватаю за жидкие, испорченные химией волосы жирную продавщицу и начинаю методично постукивать её лицом об кассовый аппарат...

В издевательский смех вплелось еле слышимое звяканье колокольчика. Я открыл глаза. Входная дверь, слегка раскачиваясь, подметала пол дерматином.

Я сорвался с места и выскочил на улицу.

— Слушай, Михей.

— Да?

Я называю его Михеем, хотя на самом деле он Михаил. Большинство друзей называет его Майклом или Майком. Женщины зовут его просто Мишей. Но именно введённое мною «Михей» почему-то нравится ему больше всего, хотя он и не способен заставить всех обращаться к нему именно так. В этом ещё одно наше различие.

Меня зовут Никифором, но я ещё с детства возненавидел это имя, потому что оно вызывало у меня представление о каком-то седом деревенском деде, который сидит на заваulinke и курит самокрутку. Дедом, в общем-то, неплохим, но никак со мной не ассоциирующимся. Поэтому я с благодарностью и даже гордостью принял сокращение от одноклассников и с тех пор не позволял кому-то называть меня иначе — в том смысле, что молчал на любое обращение по полному имени.

— Мне надо отлучиться на полчаса. Ты не можешь за меня постоять?

Он нахмурился.

— Нет, мне самому сейчас ехать надо. А что такое?

— Да так, сходить надо кое-куда.

— Куда?

— Да по делу одному.

Он изучающе посмотрел на меня. Потом сказал:

— Ладно, закрой магазин. Только не увлекайся, а то ведь первое сентября скоро. Сегодня, думаю, уже начнут подтягиваться, успевай до обеда.

До обеда было почти два часа.

— Окей.

Дело в том, что сегодня я чуть не опоздал на работу.

Забравшись в постель ещё в двенадцать, я ворочался до трёх ночи, вставая каждый час, чтобы покурить. Прошедший вечер не давал мне покоя. Я вспоминал слова Миры и свои собственные. Пытался понять, правильно ли я себя вёл. Понять её намерения. А ещё из головы никак не шла фраза: «Эта история только началась». Фраза столь же загадочная и парадоксальная, как заключение врача над разлагающимся трупом: «Жить будет».

В общем, когда я проснулся, часы показывали уже полдесятого. Оставалось тридцать минут — ровно столько, чтобы накинуть на себя одежду и добраться до магазина. Я не умылся, не высморкался, не позавтракал и даже кофе не выпил. Неудивительно, что мои подмышки, не спрыснутые дезодорантом, взмокли как у боксёра, а желудок раздирали голодные спазмы после вчерашнего скудного ужина.

Единичное опоздание мало что значило для Михея, хотя он и ценил мою пунктуальность. Её ценили все мои начальники. И, пожалуй, тут было чем гордиться: ни одной задержки, ни одного прогула без уважительной причины за все годы

работы. Кто-то врёт, прикрывая болезнью тяжкое похмелье. Кто-то покрывает сладкий сон пробками или поломкой автобуса. Я же ненавижу всё это. Ненавижу врать и унижаться, изображая победный вид, как только выйдешь из кабинета. И даже если мне ничего не скажут — я всё равно чувствую себя ничтожеством. То есть, под выражением «уважительная причина» я понимаю причину, которую уважаю сам.

Возле «Нирваны», как всегда, было спокойно и тихо. На парковке стояла лишь одна машина — синяя «Honda» с грязными боками. У стены отирался какой-то тип в белых кроссовках и чёрной спортивной форме. Он курил, сплёвывая после каждой затяжки, будто у сигареты не было фильтра. Возле урны с мусором сидела облезлая кошка — склонив голову набок от усилий пережевать что-то жёсткое.

У «Нирваны», на моей памяти, дела всегда шли не очень, как и у любого отечественного музыкального магазина в эпоху Интернета и флеш-памяти. Сюда шли те немногие, для кого десятилетие господства компакт-дисков было частью молодости. Старшее поколение получало музыку из телевизора и радио, младшее — из сети. И только люди вроде меня всё ещё обивали пороги таких вот библиотечно-пустых помещений с хмурыми, но интеллигентными продавцами.

В магазине я пробыл недолго, рассматривая только новые поступления. К моему изумлению, среди них оказалось переиздание «Time Does Not Heal» 2008-го года от Century

Media. В единственном экземпляре. Каким ветром его сюда занесло — можно было только догадываться. Вряд ли его приняли за новинку из-за полуотклеившегося, но яркого красного стикера на обороте: «9 songs, 67 minutes, 246 riffs!» (что, впрочем, уже не соответствовало действительности, так как к альбому прилагались два бонус-трека). Тот, кто распорядился доставить его сюда, обязательно должен был посмотреть на даты выхода — как альбома, так и диска. Если здесь и появлялось старьё, то обычно всем известно. Скорее всего, диск попал сюда из «мёртвых запасов» другого филиала, а туда — тоже из другого отделения. А туда...

И когда я представил себе, как диск шесть лет путешествует из города в город, из страны в страну, покрывается пылью на складе, проходит через руки людей, ничего не знающих ни о записанной на нём классике, ни о его будущем владельце — мою спину обдал приятный холодок.

Купив диск, я, конечно, решил отложить знакомство с ним до возвращения домой. Столь продолжительные песни нельзя слушать, ожидая, что кто-то с минуты на минуту распахнёт дверь и сорвет всё наслаждение.

Выйдя на улицу, я осмотрелся по сторонам и быстро спустился по ступенькам. Оставалось ещё заскочить в ближайший ларёк. Вообще, я питал отвращение к фаст-фуду, но сейчас одна мысль о горячем, истекающем горчицей хот-доге вызывала у меня истому, от которой слегка кружилась голова.

Я прошёл не более десятка шагов, когда услышал за спиной:

— Братан, постой.

Я обернулся. Это был тот самый тип в спортивной форме. Он подошёл ко мне и отбросил в сторону дымящийся окурок.

— Ну чё, братан, как дела?

— Нормально, — без выражения ответил я.

— Диски купил, да? Дай-ка посмотрю.

Я нехотя протянул ему плоскую коробочку: светловолосая девушка в страхе бежит от призрачных фигур в тёмном переулке.

— Дарк Ангел, — неправильно прочёл он. — Игрушка, что ли?

— Нет, музыка.

— А-а... Типа метала, да?

— Да.

— Круто, круто. Тоже люблю. — Он вернул диск и сказал, глядя куда-то вдаль. — Слушай, давай отойдём, поговорим.

— Не могу. Я опаздываю.

— Да это недолго. Пять минут максимум. Пошли?

И, улыбаясь, взглянул мне в глаза. Наверное, мое лицо выражало гримасу человека, которому срочно нужно в туалет.

— Пойдём-пойдём, — с оптимизмом сказал парень, кладя ладонь мне на спину.

И когда ноги уже несли меня куда-то, повинуюсь лёгкому,

но настойчивому давлению руки, я начал проклинать свой разум. Отключившись на время этого краткого диалога, теперь он выдумывал десятки причин не следовать за гопником. Десятки отличных способов пройти мимо, оставив этот день солнечным, ярким и беспечальным.

Мы сели на скамейку во внутреннем дворе, ограниченном стенами обшарпанных каменных двухэтажек. За спиной была клумба, заваленная мусором и огороженная автопокрышками, стоящая вкопанными в землю. Впереди — полуразрушенная детская площадка.

Я сидел прямо, засунув руки в карманы куртки. Парень — слева от меня, ссутулившись и сцепив пальцы в замок. Со стороны нас можно было принять за старых знакомых: один излагает другому свои проблемы. Да, наверное, так можно было подумать. Если бы имелось это «со стороны».

Двор был совершенно безлюден. Отсутствовали даже животные. Только на песке возле потёртой деревянной горки сидел воробей, тюкая клювом в нечто невидимое. Я бродил взглядом по окнам с сосущим чувством надежды, но ни в одном из них не заметил ни лиц, ни движения. Создавалось ощущение, что мы в каком-то особом, необитаемом квартале.

Парень молчал довольно долго. Уж не знаю почему — то ли для пушшего эффекта, то ли собирался с духом. Во всяком случае, улыбки на его лице уже не было. Я же надеялся,

что сказанное им будет чем-то неожиданным, нешаблонным. Не тем, чего я ожидал, когда он только меня окликнул. Может, он действительно захотел излить мне душу. Да, первому встречному. Такое бывает. Правда, чаще с алкоголиками. Но ведь он не пьян. Да и стал бы он вести меня сюда...

— Слушай, одолжи мне пятихатку.

У меня защемило в сердце. Пошлая, банальная фраза в один момент разрушила все карточные домики, которые я понастроил, пока он молчал.

— Ты понял, нет? — спросил парень.

— Зачем? — спросил я.

Он посмотрел на меня — косо, с презрением.

— Только тупого не включай, ладно? Просто дай мне деньги.

Эта неожиданная смена «одолжи» на «дай» бросила меня в состояние трепета. Пульс подскочил моментально, его стук отдавался где-то в горле.

— У меня нету, — сказал я.

И содрогнулся всеми внутренностями.

Купюра в пятьсот рублей как раз лежала у меня в левом кармане. Я шупал и теребил её пальцами.

— Вот не надо, — ещё более презрительно сказал парень.

— Есть у тебя. Я видел.

Нет, не видел. Не мог видеть.

— Да нету. Честно.

Мне не было жалко этих пятисот рублей. Скорее всего,

я запросто отдал бы их этому парню, если бы он попросил их там, возле «Нирваны». Попросил по-человечески, бесхитростно, на открытом пространстве, на глазах у прохожих. Но он затащил меня в эту пустыню. Запер в клетку, причинил дискомфорт. И теперь я осознал, что эта смятая купюра, добровольно вложенная в его грязную ладонь, будет символом моей ничтожности. Я навсегда запомню, что струсил и поддался. Я буду вспоминать это по ночам, просыпаясь в поту и проклиная свою беспомощность. Буду вспоминать перед смертью. И это воспоминание перечеркнёт все остальные, заставив меня биться в агонии: ничтожество, ничтожество, ничтожество...

Пусть лучше он ударит меня, оскорбит мою физическую силу. Это я переживу. Тем более, что не уважаю мускулы. Нарастить их может каждый. Любой дурак. Любое животное. Вот сейчас он поднимется, встанет передо мной и врежет по лицу. Запустит руку в карман, достанет деньги и уйдёт. А я, придя в себя, подумаю: что ж, бывает. И спокойно вернусь на работу. Это меня не расстроит. Это будет правильно.

Словно повинуюсь ходу этих мыслей, я медленно опускал руку с купюрой всё глубже в карман... Пока неожиданный холод металла под пальцами не резанул моё сознание.

— Ты чё меня, за идиота держишь? — спросил парень.

Пульс стучал уже в ушах, притупляя слух.

Это был «Wenger», которым я часто пользовался, когда

надо было что-нибудь подкрутить в монтировке телескопа. Одна из последних моделей под знаменитым брендом, который в этом году прекращал своё существование. Фактически — мультитул. Десяток инструментов в одном флаконе. И среди этих инструментов — нож...

— Нет, — сказал я.

Я отпустил купюру и начал ощупывать ручку. Как и в случае с большинством подобных приспособлений, из этого чуда швейцарской промышленности проще всего было достать штопор. Остальные инструменты вылезали туго. На какие-то доли секунды я даже задумался.

Штопором?

Затем стал щупать дальше.

Парень снова направил взгляд куда-то вдаль.

Шило...

— Слушай, если ты мне сейчас не дашь пятихатку — я же тебя прямо тут... прямо здесь... Ну, ты понял.

Да, я понял. И моя рука в кармане замерла. Я ещё раз огляделся вокруг: по-прежнему безлюдно. Затем я взглянул на его руки. Они были пусты. Даже не сжаты в кулаки. Чем он собрался это делать? Я продолжил манипуляции и нащупал дол на лезвии...

— Прямо тут грохну, понял? И никто не услышит.

И он посмотрел на меня.

Это было чертовски трудно — вытаскивать лезвие одной рукой, да ещё и в ограниченном пространстве. У меня забо-

лел ноготь. Я мысленно проклинал всё на свете.

Наконец, мне удалось.

Очень медленно, стараясь ни на йоту не отводить взгляда от глаз парня, я вынул нож из кармана и приставил остриё к его боку.

— Чё ты смотришь на меня? Деньги давай. Не дошло, что ли?

— Дошло, — сказал я. — А теперь послушай меня. Если, конечно, не хочешь свои кишки с асфальта собирать.

Он глупо вылупился.

— Чё ты сказал?

Я чуть-чуть надавил. Он перевёл взгляд вниз и увидел нож. Поразительно, как быстро изменилось выражение его лица.

— Ты... Ты чего это?

Он выпрямился, но моя рука синхронно двинулась за ним, ни на миг не разрывая контакта между ножом и животом. Он хотел меня толкнуть, но я схватил его за локоть правой рукой.

— Не дёргайся.

Он смотрел на нож как замороженный.

— Ты чё... Ты чё делаешь-то?

— Ничего, — сказал я, и тут же добавил: — Пока ничего.

Я чувствовал, как дрожит его тело. Даже не держи я его руку, я всё равно бы это почувствовал — через тонкое стальное полотно с острым концом.

— Пусти, придурок!

— Нет.

— Убери нож! Убери свой сраный нож!

— Я тебя сейчас на лоскутки порежу.

— Люди! Люди, помогите! Помогите!

Я понял, что всё полетело псу под хвост. Отвёл нож и сильно толкнул его запястьем. Мы соскочили со скамейки и встали друг напротив друга.

— Ты, п-придурок... — Его голос дрожал и запинался.

— Ты чё творишь, а? Ты чё творишь? Я же пошутил. Я же пошутил, а ты за нож... Не собирался я тебя убивать. Из-за пятахатки какой-то... Ты чё, вправду подумал? Я же не больной. А ты... ты чё... да?

Отвращение переполняло меня. Я ненавидел каждое его слово. Ненавидел его дурацкое чёканье. Его спотыкающаяся, плаксивая речь, так непохожая на спокойно-угрожающий тон пару минут назад, вызывала у меня злость и разочарование. Словно меня предал лучший друг.

Я сделал один шаг вперед. Он отскочил назад на целых три. И, — перед тем, как развернуться, чтобы пойти прочь быстрыми и нервными шагами, еле скрывающими намерение бежать, — бросил фразу, которая ввергла меня в умственный паралич:

— Грёбаный хиппи!

Какое-то время я сидел на скамейке, пустым взглядом

рассматривая окурки у себя под ногами. В памяти отчётливо всплыл эпизод из раннего детства, когда я, играя с дворовыми ребятами, случайно попал снежком в глаз одной девочке. Она заплакала, а её брат подошёл и злобно пнул меня в живот, не дав времени на извинения.

Никогда я не испытывал такой чудовищной боли. В один момент из яркого весеннего дня меня перенесло в могильную тьму. Я не мог вздохнуть, а потому не мог и закричать. Лёгкие судорожно пытались расправиться, порождая низкие хрипы. Мне казалось, что я умру. Я был уверен в этом. Но на это никто не обратил внимания. Я стоял в стороне, согнувшись и беззвучно истекая слезами, а они продолжили игру. И девочка, — та самая, что ещё несколько минут назад ревели так, будто у неё умерла мама, — теперь бегала среди этой радостной сутолоки, увёртываясь от рассыпчатых снарядов и оглашая двор пронзительным возгласами счастья...

Не знаю, как я нашёл путь обратно из этой каменной ловушки. Один из недостатков моего разума в том, что он не запоминает дорогу, когда меня по ней ведут. Несмотря на то, что шли мы сюда недолго, я никак не мог понять, куда идти, чтобы вернуться к «Нирване». Да и в голове до сих пор не укладывалось, что рядом с яркими современными зданиями может притаиться такой отвратительный призрак тёмных девяностых.

Хот-догов не было.

Я снял замок и вошёл в магазин, не перевернув табличку на «Открыто». Минут пятнадцать сидел в кресле, без аппетита мусоля подсохшую шаурму и запивая её «Спрайтом». Потом надел наушники и всунул штекер в телефон.

Открыл альбом «You're Living All Over Me». И выбрал. «In a Jar».

А ещё подумал: надо захватить пару полотенец. Всё равно их у меня слишком много.

Вот ведь странно — откуда они берутся? Просыпаешься утром, а они уже в голове. Всю ночь там прятались. Готовенькие. Даже как-то неудобно. Будто и не ты их сочинила, а так — нашла на берегу какую-то дощечку и очистила от песка. Не поэтесса, а археолог. Всегда такое ощущение. Хоть бы раз почувствовать, что это ты, ты сама. Но нет, я просто бездарность.

Я ведь даже о котятках не думала, и не снились они мне. Снились только те, ежи в пузырях. Да и думала перед сном совсем о другом. О маме и папе. Люблю скучать. Но чтобы скучать — надо, чтобы тот, по кому скучаешь, был где-то далеко. Неужели так трудно понять? Там бы они меня опять до чёртиков довели. Это потому, что я вас люблю. Нет, дочка, ты просто невыносима.

А потом жарю яичницу и думаю: а что же это всё-таки

значит? Вот не могу я так — взять и забыть. Потому что вертится, вертится. Не отпускает. И так каждый день, из-за всякой мелочи. Мучение какое-то. Прямо голова от тела отрывається и хочет по комнате летать. На шее ноги оставаться невмочь. Вот он... он бы наверняка с этим справился. Сразу бы по полочкам разложил. Потому что различает — ерунду и важное. А я о всякой чепухе с утра до вечера. Нет-нет — ахинея.

Ввела в «Поиск» — не нашла. Ну так ведь там не всё, что я читала.

Гипотеза Геи, Медеи. И руку кипятком ошпарила. Наливала, да перелила.

Вот почему-то читаю и смеюсь. Всегда казалось, что всё вокруг — живое. Не зря ведь поэты пишут. Кто-то скажет: он просто слушал шум ветра, и этот ветер напомнил ему зверя и ребёнка. И ничего загадочного. А мне кажется — что-то там есть. И они это чувствуют, хотя и сами жалуются, что не могут слова подобрать. Вот и получается: материнка умерла, старая машина, время жизни облака, зарождение звезды.

И вот подумала: а если тут как со спектром? Мы смотрим будто сквозь щёлку. Жизнь везде, но мы этого не понимаем. Не можем подойти научно. Выдумываем всякие определения, ставим заборы. Конечно, без системы — бардак. Но тут-то другое. Все равно что жить в чулане, когда тебе дали целый дом.

Включила телевизор, а там опять: «О Боже, какой мужчи-

на! Я хочу от тебя сына...». Другой канал: «Всё пучком, а у нас всё пучком...». Выключила. А потом вспомнила, как мистер Бин гонится за курицей. И как это я раньше не подумала. Открыла, посмотрела песню в титрах. Скачала. И на весь день. Вот ведь. Надо было летом. Песня самая подходящая. Я бы взяла свой велик и улизнула за город, как обычно, — никому ни слова, и телефон на столе. И весь день бы каталась по округе, представляя, что уехала далеко-далеко. А может, и уехала бы. И ветер обдувает голову, и «Crash» в наушниках, и сердце рвётся-разрывается от радости. А потом упала бы в траву у обочины и заплакала от счастья. Нет, не навзрыд, конечно. Только одна большая капля течёт по щеке. А я лежу. И улыбаюсь. И смотрю на небо. Долго-долго смотрю. Пока, наконец, не вспоминаю, где я и откуда.

Если бы не осень и грязь...

А так я просто танцевала. Ну, не то чтобы. Танцевать-то я как следует не умею. Просто кружилась и прыгала, поставив песню на бесконечный повтор. И играла на воображаемой гитаре. Играю и представляю, что стою на сцене, да ещё и пою в микрофон. И совсем-совсем не волнуюсь, что на меня смотрят. Целый час так бесилась, а потом бухнулась на кровать — и давай над собой смеяться. Ё-мое, видел бы кто. Голова такая, будто и на лице волосы растут. Лахудра. Ещё одно наказание. Вот зачем это нужно? В два раза больше, чем у других. Всё время с ушей падают и в суп макаются. В хвост соберёшь — резинка слетит. А мама: это дар, все о

таком мечтают, ты просто ещё не понимаешь. Чушь какая. Будто волосы что-то решают.

А потом я уснула.

Ну ещё бы. После такой-то ночки. Думала и думала, завернувшись в одеяло. А ведь давно хотела, но не знала, откуда они на самом деле. Похолодало. Вот так закутаюсь, подоткну хорошенько, чтоб ни одной щели. И Филю с собой возьму, чтоб ни ему, ни мне так страшно не было. Прижму к животу его мурашечные пластмассовые глазки — и дышу. Нас обоих согреваю. Как в коконе. Кокон темноты. А потом так душно стаёт, что поднимаю краешек возле лица. И лежу дальше, и представляю, что мы в своём маленьком, жарком домике с окошком. А где-то, где-то там, в темноте — они.

Лучшее, что я могу себе приготовить — это рожки с луком и поджаренными кружочками сосисок. За всё время одинокой жизни мне ещё ни разу не надоело это блюдо, хотя я не такой дурак, чтобы готовить его ежедневно. Эдак и загнуться можно. Приходится и супы варить, и салаты резать. Правда, ни один суп не вызывает у меня доверия, потому что сытости от него — на час от силы. Плотная же пища насыщает на полдня. Суп — обман желудка. Почти такой же, как и чай. К тому же, это долго и муторно: варить три часа, снимать накипь, доливать воду, шинковать овощи... Но со

здоровьем не поспоришь.

Удивительно, как быстро стареет человек. В детстве я мог, не запивая, съесть шесть жареных пирожков подряд — и никакой изжоги, икоты или тяжести в желудке. А когда был студентом, то искренне полагал, что бутербродами с колбасой и сыром можно питаться всю жизнь. Теперь я улыбаюсь, вспоминая об этом. Улыбаюсь и хмурюсь, и поглаживаю живот под правым ребром. Тупая боль, тошнота... Как бы я ни любил сидячий образ жизни, он разрушает мое тело. Стоило бы возобновить практику утренних марафонов, заброшенную после открытия планеты. Стать жирдяем мне вроде не грозит, но пробежки нужны не только толстым. Трясти можно и не жиром, а желчью. Если бы не осень и грязь...

Я сидел на кухне и ел прямо со сковороды, уставившись в тёмный коридор перед собой. Две двери по бокам. Чёрная комната, Белая комната. Странное дело: после сегодняшнего случая меня тянуло побывать как в одной, так и в другой. И я не знал, что будет лучше. Не было никакой возможности угадать, какая из них мне бы помогла. Никакой — кроме как войти. Но я никогда не посещал обе комнаты в один день и потому боялся ошибиться.

Это ощущение повторилось с удвоенной силой, когда я, уже надев куртку, толкал перед собой телескоп, везя его по коридору. Я затормозил между дверьми, хотя не собирался этого делать. Это вышло словно против воли. Остановился и стоял, как примагниченный. Меня разрывало двумя рав-

ными по силе желаниями, и эта было мучительно. Я поворачивал голову то влево, то вправо, но был не в силах сделать хоть один шаг. Не мог сделать выбор.

И тогда я рассмеялся.

Я стоял, склонив голову. Рот мой был закрыт, и только ноздри издавали звуки частых и коротких выдохов. В сущности, я сам не понимал, смеюсь я или плачу. Знал только, что это принесет облегчение.

И оно пришло.

Я прислонился лбом к двери Белой комнаты, закрыл глаза и тихо произнёс:

— Дженна.

А затем, подавив последнюю судорогу этого странного смеха, покотил телескоп к выходу.

Не успел я направить объектив на KBF 63949+10, как над забором показалась маленькая голова.

— Поздно вы сегодня.

— О, Господи, — вздохнул я.

— Ой, да ладно! — улыбнулась она. — Вы же меня ждали.

— А вот и нет.

— А вот и да.

Я промолчал. Мира подтянулась, перебросила через забор одну ногу, потом другую и, оказавшись ко мне спиной, спрыгнула на траву. Думаю, её ловкости позавидовали бы многие мальчишки.

Развернувшись, она принялась стряхивать лосины ниже колен. Сегодня на ней была кожаная куртка. Молния и никаких пуговиц. Бордовая мини-юбка.

— Слушай, как ты...

— Я увидела, что вы выключили свет.

Она приподняла шапку над головой, позволив волосам упасть, и сразу надела её обратно.

— А, понятно, — сказал я. — Ну, проходи, присаживайся.

Она подошла к нашим вёдрам-сидениям. И спросила:

— Полотенце?

— Да, — сказал я. — Ты в курсе, что сидеть на холодном металле очень вредно для здоровья?

— А, для этого. — Она присела. — Да, так и впрямь лучше. Спасибо.

Я сел на своё ведро. И наступило молчание.

Снова, как и вчера, нами овладевала неловкость. Будто весь прошлый вечер был каким-то сном, ложными воспоминаниями, и даже приветственные слова, прозвучавшие пару минут назад, казались теперь не более чем искусственной вежливостью, сухой и пресной, как диалог покупателя и продавца. Но вот магазин закрыли, заперли снаружи, и сейчас друг напротив друга сидели совершенно незнакомые люди, оказавшиеся перед необходимостью завязать беседу. Опустив взгляд вниз, каждый ждал от соседа первого слова, не решаясь произнести его первым и тем самым нарушить тяжкую торжественность безмолвия.

— Ты хотела мне что-то рассказать.

— Я хотела вам кое-что рассказать.

Мы произнесли это одновременно — как по команде. И, подняв глаза, улыбнулись друг другу. Джойсо-прустовская атмосфера встречи рассеялась.

— О мюввонах? — спросил я.

Она кивнула, подкрепив негласный ответ мимолётным закрытием глаз.

— Но сначала я хотела вас кое о чём спросить.

— Спрашивай.

— Вы не знаете, чьи это стихи?

Как шелестит трава, скажи мне?

А как мяукает котёнок?

А шум какой у злого ливня,

Что ужасает нас с пелёнок?

Быть может, вопиёт трава?

Котёнок лает в ярости приливе?

А ливень — лишь звенит едва,

Нас усыпляя в сладостном мотиве?

Неназываемым полнится всё с пелёнок.

Мы говорим, краснея за себя.

И знаем лишь, как и любой ребёнок,

Что человек звучит, как:

— Я. Я. Я. — задумчиво закончила она.

Я почувствовал себя странно. И сказал:

— Нет, не знаю. А откуда ты их взяла? Сама сочинила?

— Да нет. Так, просто вспомнила...

Снова наступила тишина. Я ждал. Наконец, Мира выпрямилась, расстегнула молнию на левом кармане куртки и стала раскрывать сложенный в несколько раз лист бумаги.

— Я боялась что-нибудь забыть, — смущённо сказала она.

Я кивнул.

— А тот фонарик у вас ещё есть?

— Какой? Этот? — спросил я, указав на подвешенный к монтировке телескопа светодиодный прожектор.

— Да. Мне нужен свет.

Я встал и дал ей фонарь.

— Хм... — Она повертела его в руках. — Какой-то он странный.

— Самозарядный, — пояснил я. — К счастью, я его накачал заранее.

Она нажала кнопку. Вспыхнул свет.

— Яркий какой, — сказала она. — Слишком яркий.

— В смысле?

— Я вас совсем не вижу.

— А зачем тебе меня видеть?

— Ну как это зачем? Я же не могу читать сама себе.

Я почесал лоб...

В конце концов, фонарь был утоплен в раструбе вертикально поставленного кирзового сапога, валявшегося неподалеку. И Мира начала читать, держа бумагу над бьющим в небо столпом света, — словно загадочную древнюю рукопись, попавшуюся пытливым охотникам за тайной.

В погоне за мюввоном

Если принять за факт, что ещё ни одна цивилизация во Вселенной не достигла того уровня развития, который бы позволил её представителям передвигаться в пространстве способом, хоть сколько-нибудь достойным этого самого пространства, то мир предстаёт перед нами подобием тёмного города безногих инвалидов, ни один из которых не подозревает, что творится в соседнем доме. Но если бы была возможность провести через все эти дома нечто вроде единой сети и научить всех её пользователей общаться на одном языке, то наверняка каждый из них поведал бы о том, что видел в своём окне примерно то же, что и все остальные. Улица одинакова для всех, и хотя расположение фонарей различается для разных окон, достаточно чётко опознать несколько из них, чтобы соединить фрагменты картины в единое целое. И прохожий, идущий в свете этих фонарей, тоже наверняка будет описан одинаково всеми жителями окрестных домов. До тех пор, пока не войдёт внутрь.

Удивительно, как распространён страх во Вселенной. Из

всего невысказанного количества чувств, эмоций, состояний и ещё более невысказанного числа их оттенков, для многих из которых не нашлось бы ясного человеческого определения, лишь страх по праву претендует на звание универсального элемента восприятия, понятного самым различным формам жизни, разбросанным по закоулкам мироздания. Но удивительно это лишь на первый взгляд. Ведь страх — порождение смерти, чей призрак, многоликий и непостижимый, обитает в каждом кванте времени и пространства. Ибо бессмертие не даровано никому, даже самой Вселенной. Даже самой смерти. Определение смерти, как прекращения всех жизненных процессов, не может обойтись без определения жизни. А если подойти с другого конца, определив жизнь в самом общем смысле как некий процесс, то мы придём к простейшему случаю круговой аргументации, когда каждое из понятий неотделимо от другого. И потому всё, что бессмертно, в то же время и безжизненно, а единственное, что обладает обоими этими качествами — полная пустота. Нет, не то пространство между звёздами и галактиками, и даже не то отсутствие вещества, известное нам под парадоксальным выражением «кипящий вакуум», а то абсолютное, совершенное ничто, которое не является частью какой-либо вселенной, но разделяет и объединяет их, как межклеточная жидкость.

Однако есть ещё одно, более ёмкое, но оттого не менее глубокое определение смерти.

Смерть — это неведомое. То, что лежит за гранью како-

го-либо понимания. То, что нельзя измерить и исследовать. И понятие неведомого столь тесно связано с понятием смерти, что всё, чему мы не способны дать логического объяснения, кажется нам предвестником конца.

Глаза у страха велики, в этом нет сомнения. История одной только человеческой цивилизации даёт этому факту многочисленные подтверждения. Люди, впервые увидевшие сельдяного короля, породили легенды о Йормунгарде. Встреча с гигантским кальмаром заполонила мир слухами о кракене. Купающиеся слоны бродячего цирка стали основой мифа о *Nessiteras rhombopteryx*. А жеводанский зверь до сих пор является источником массы предположений — от оборотня до выжившего эндрюсарха.

Но одно дело просто видеть странный объект, и совсем другое — видеть, как этот объект проявляет невиданную мощь, руководимую непостижимой, но явно разумной волей. Тогда страх усиливается многократно, бередит умы и заражает цивилизацию тяжким комплексом неполноценности, который тем глубже, чем ярче последствия этих действий.

Несмотря на то, что существуют вполне официальные снимки и даже съёмки мюввонов, эти существа остаются в разряде мифов и мистификаций. И, похоже, будут оставаться там вечно. Ведь дабы что-то доказать — надо это повторить. А иначе теория остаётся теорией, выход из туннеля заваливает чудовищной каменной глыбой, а зеркало эксперимента показывает дикую гримасу случайности, хохочущей

над недоумённым искателем истины.

До сих пор никто не видел мюввонов дважды. Впрочем, само выражение «до сих пор» тут лишнее, потому как по отношению к существам, способным передвигаться со сверхсветовой скоростью, понятие времени становится крайне зыбким и даже абсурдным, приводя нас к парадоксу t внутри t , что неподъёмно для нашего спекулятивного ума, чьё собственное время существования исчисляется примерно двумя миллиардами секунд, которые, будучи положены на световую линейку, отмерили бы всего несколько рейсов до ближайшей звезды.

Различные народы Вселенной давали разные названия мюввонам. Объясняется это тем, что последние никогда не вступали с прочими формами жизни во что-либо, хоть смутно напоминающее диалог. Соответственно, как называют мюввоны самих себя и называют ли вовсе — неясно, а самопальных имен расплодилось великое множество. Кто-то отталкивался от внешнего вида, кто-то — от деяний, кто-то — от религиозного страха перед грозными богами, спустившимися с небес. Но наиболее распространённым стал вариант, основывающийся на двух звуках, производимых этими существами.

Конечно, старания записать звук в виде слова — дело столь же жалкое, как и попытки нарисовать мелодию. Петух кричит отнюдь не «кукареку», падение кирпича с крыши на

асфальт не сопровождается никаким «бац», никакой «чмок» не сопутствует губам, разделившимся после поцелуя, и ни одна свинья за всю историю ещё не произнесла «хрю». Всё это — уродливые, примитивные символы, неспособные даже отдалённо передать характер описываемых ими звуков. Тем не менее, они необходимы. И они работают. А всё потому, что у разумного создания есть память и воображение, помогающие ему превратить треугольник в гору. Если, конечно, он хоть раз в жизни видел гору.

Большинство очевидцев, находившихся рядом со странными пришельцами, слышали тихий и монотонный, непрекращающийся гул, похожий на работу некоего механизма. Слово, которым они охарактеризовали этот звук, собственно, и является первой частью названия — «мю». Правда, чтобы хоть немного представить этот звук, следует понимать, что «м» и «ю» слышатся в нем не поочерёдно, а одновременно и неразрывно.

Другая же часть названия появилась благодаря звуку, с которым мюввоны удаляются: быстрое нарастание воя с последующим резким свистом — «в-в-вон».

По странному совпадению, слово «мюввон» имеет фонетическое сходство с двумя земными понятиями, которые имеют очень близкое отношение к данному существу. Одно из них — частица мюон, другое — английское «move on». Само же слово, будучи написано на латинице, скорее всего, выглядело бы как «myuwwon».

Впрочем, чему удивляться? Ведь цивилизаций во Вселенной настолько много, что даже существует одна из них — которая, Впрочем, с мюввонами ещё не повстречалась, — на одном из бесчисленных диалектов которой слово «мюввон» означает «ёж в пузыре».

Попытки погони за мюввонами практически не предпринимались. Хотя многие цивилизации освоили космические средства передвижения, визит мюввонов — событие настолько краткое и внезапное, что подготовиться к преследованию почти невозможно. Тем не менее, одна такая попытка была сделана.

И поныне существует многострадальная планета Реллек, населённая одноимённой расой, представители которой, по всей очевидности, имеют самые серьёзные основания ненавидеть мюввонов и желать им полного уничтожения. Однако... однако, парадокс и ужас их положения заключается в том, что они понятия не имеют, кто такие мюввоны и зачем их надо ненавидеть.

Дело в том, что мюввоны, вопреки своему обыкновению, посещали эту планету целых сорок семь раз. И каждый из этих визитов сопровождался жесточайшим геноцидом.

Мюввоны убивали почти всё население планеты, выполняя это с потрясающей быстротой и оригинальностью. Все сорок семь посещений были не похожи друг на друга, но все несли быструю и массовую смерть. И если одни спосо-

бы ликвидации — такие, как вирус или падение астероида — ещё более или менее знакомы нам по собственной истории, то другие — такие, как мгновенная дезинтеграция, телепортация на околопланетную орбиту или превращение живого организма в кипящую слизь — могут показаться кошмаром, нонсенсом или частью сюжета голливудского блокбастера. Хотя все эти вещи происходили на самом деле.

Тем не менее, всякий раз небольшой части реллеков удавалось выжить.

Разбросанные по всей планете маленькие группы скитались среди безмолвных городов, медленно поглощаемых наступающей природой. И от взгляда на развалины собственной цивилизации в душах реллеков просыпались ярость и жажда возмездия. Они клялись отомстить неведомым убийцам, хотя сами не понимали, как это сделать. Ведь им приходилось начинать всё сначала. Научные труды, произведения искусства, сложные механизмы, наконец, сама история — все это гнило, ржавело и разлагалось без должного ухода, которого оставшиеся в живых реллеки обеспечить никак не могли.

Во-первых, — уж слишком мало их было. Лишь несколько тысяч на огромную планету. И, чтобы выжить, реллекам приходилось сосредотачиваться на более насущных вещах — добычании пищи, поисках убежища, защите себя и близких от хищников, которые теперь нагло захватывали утраченные некогда территории. Ну, а во-вторых, — большин-

ство из реллеков имело профессии, совсем не подходящие к условиям нового, дикого мира. Они могли прочесть рукопись и даже понять её, но не могли воспользоваться знаниями. Они с лёгкостью управляли механизмами, но не в силах были создать новый, когда старый приходил в полную негодность. Проще говоря, они были типичными потребителями, бессильными остановить собственное вырождение и приход тёмных веков. Новое поколение, рождённое после визита мюввонов, смотрело на родителей тупым бычьим взглядом батрака, обречённого всю жизнь гнуть спину. А потомки этих батраков были уже самыми настоящими дикарями, гоняющимися по лесу за добычей с громкими криками, в которых с трудом угадывались остатки речи их предков.

Но проходило время — века и тысячелетия. Население планеты росло. Леса вновь отступали перед полями и пастбищами. Возводились новые города. Дерево сменял камень, камень уступал место железу. Шли войны и торговые обмены. Рождались неугомонные гении, хлеставшие взмыленную спину цивилизации кнутами «новых» открытий, плоды которых давно истлели в земле. С каждым новым ребёнком рос темп жизни всего Реллека. И никому, за исключением философов определенного толка, не приходило в голову, что всё это происходит не в первый раз. Лишь иногда скудные остатки прошлых свершений попадали в руки изумлённых исследователей, но артефакты эти либо принимали за фикцию, либо оставляли в метафорических ящиках с надписью

«Загадка». И уж, конечно, никто не мог предположить, что древние чертежи на поверхностях различных пещер и скал, изображающие остроконечную звезду, вписанную в окружность, совсем не являются символами солнца.

И мюввоны прилетали снова.

Казалось бы — этот цикл может продолжаться вечно. Но с течением времени сторонний наблюдатель заметил бы определённые изменения. Поначалу едва различимые, они становились всё более выраженными по мере того, как первый визит мюввонов уходил все дальше в прошлое.

Дело в том, что технический прогресс реллеков развивался стремительнее от цикла к циклу, хотя периоды, разделяющие на временной шкале две соседние точки армагеддона, был почти одинаковыми. И если в первый раз мюввоны уничтожили народ, который едва начал использовать силу пара, то на двадцать восьмой они уже имели дело с цивилизацией, которая выбралась в космос и усиленно наращивала скорость своих звездолётов, надеясь покорить соседние миры.

Именно в этот, двадцать восьмой визит, и была предпринята единственная попытка догнать мюввона. К сожалению, имя реллека, отчаявшегося на этот поступок, вряд ли попадет в анналы истории — разве что истории, написанной самими мюввонами, к чему они отнюдь не проявляют видимой склонности. Но судно с трупом несчастного на борту наверняка всё ещё продолжает свой дрейф где-то в просторах Все-

ленной — если, конечно, не врезалось в какую-нибудь планету или само не стало ею, облепившись космической пылью.

Реллек этот был одним из немногих, кто мог позволить себе иметь собственный корабль. В тот день, когда мюввоны явились с очередной жатвой смерти, он меланхолично бороздил космическое пространство вблизи родной планеты, укрытой серыми облаками. Вероятно, он так и не узнал, что случилось там, внизу. Но когда из облаков стремительно вырвался прозрачный, похожий на мыльный пузырь, шар — реллек тут же бросился в погоню.

Что подвигло его на этот поступок — любопытство, самлюбие, жажда славы, безумие — остаётся загадкой. Как бы то ни было, он смог совершить то, чего никому больше не удавалось: он летел за мюввоном, держась от него всего в нескольких сотнях метров. А это, возможно, означает, что сверхсветовую скорость мюввоны развивают не сразу, а постепенно. Или это может ничего не значить. Возможно, мюввону в тот день просто захотелось поиграть в догонялки. А возможно, что последствия этой погони станут очевидны только через миллиарды лет. Нам — людям, не разобравшимся даже в интеллекте тех, кого мы высокомерно называем своими младшими братьями — пожалуй, и не стоит пытаться понять этот странный разум, совершенно чуждый всем остальным формам жизни. Разум создания, способного видеть время так же легко, как и пространство.

Мюввон ускорился. Реллек со своим кораблём — тоже. Скорость становилась чудовищной, релятивистской. Одна десятая... одна восьмая... одна шестая... наконец, треть. Треть скорости света — это был предел для судна. И в тот момент, когда оно достигло этой отметки, реллек, наконец, решил, что с него хватит. Он нажал кнопку, отключающую основные двигатели, а затем надавил на другую, собираясь совершить манёвр разворота.

Но ничего не произошло.

Нет, двигатели сработали как надо — одни заглохли, другие, выбросив из боковых сопел огромные языки пламени, начали пожирать свою долю топлива. Но скорость оставалась прежней, а корабль всё так же летел носом в сторону мюввона, не повернувшись ни на градус.

Прошло несколько секунд. Минут. Скорость не спадала.

А потом она снова начала расти.

Реллек был потрясён. Его объял смертельный ужас. Он вновь и вновь проверял показания приборов, нажимал различные клавиши, но корабль продолжал ускоряться, хотя система контроля упорно отрицала наличие каких-либо ошибок.

Вконец потеряв надежду снизить темп этой бешеной гонки, реллек оторвал руки от приборов и стал заморожено наблюдать в лобовой иллюминатор ставшую теперь гораздо ближе к нему огромную сферу, в центре которой, с невообразимой скоростью втягивая и вытягивая бесчисленные иг-

лы, сидела металлическая звезда.

Наверное, корабль продолжал ускоряться, но реллек уже не мог этого узнать. Приборы выдавали противоречивые результаты, пытаясь измерить то, на что не были рассчитаны.

Реллек приготовился к смерти. Хотя и понятия не имел, какой она будет. Возможно, корабль сгорит от трения об вакуум. Звучит глупо, но это вполне реально на такой скорости, когда даже самые мелкие пылинки из-за относительности движения превращаются в смертоносное излучение. Возможно, он врежется в какую-то звезду. Или же застынет в одном миге и никогда не растает, оставшись где-то в стороне от всех событий мира...

Но то, что произошло в следующий момент, стало для реллека полной неожиданностью.

Он словно очнулся ото сна. Двигатели не работали. Приборы показывали отсутствие движения. Мюввон исчез. Корабль оказался в каком-то совершенно незнакомом реллеку месте. В иллюминаторе — ни одного знакомого созвездия. Даже ни одной яркой звезды. Все они были пугающе тусклыми и далёкими.

Реллек не помнил, чтобы он терял сознание. Не помнил даже краткого потемнения — ни снаружи, ни в собственном разуме. Что случилось в этот невероятно малый миг — осталось для него загадкой. Да и был ли этот миг вообще? Одна картина сменила другую настолько быстро, что это породило ощущение нереальности обеих. То ли корабль прошел

через какую-то червоточину, то ли все жизненные процессы организма остановились на световой скорости. То ли...

Наверное, только об этом и размышлял реллек в течение того периода времени, равнявшемуся примерно земному месяцу, что могла предложить ему система жизнеобеспечения. Его корабль оказался в супервойде — космической пустоте огромных масштабов. Даже тусклые точки за стеклом его иллюминатора были на самом деле не звёздами, а далёкими галактиками. Он включил двигатели, решив лететь наугад, и они заработали. Но приборы по-прежнему констатировали состояние полного покоя — потому что были основаны на методе измерения положения окружающих тел, ближайшие из которых находились теперь в десятках мегапарсеков от корабля.

Умер ли реллек от истощения, покончил с собой, а если да — то от отчаяния или сумасшествия? Вопросы эти лучше оставить без ответов, ибо они не важны для нашей истории — как бы не тянулся наш мысленный взор к этой безусловно трагической фигуре, оставшейся в чемпионском, недостижимом дотолем одиночестве. В одиночестве, когда любой сигнал о помощи, пущенный в любую точку пространства, будет идти до цели миллионы световых лет, растворяясь в космическом шуме до полной невозможности распознавания.

Изобретение даларги — при всей своей значимости, фактически перекрывающей ценность любого научного откры-

тия — язык не повернётся назвать гениальным. Даларга не являлась плодом мысли одной личности и даже не была творением узкого круга учёных Реллека. Она была идеей, которую по полному праву можно назвать национальной. Дело в том, что регулярные гуманитарные катастрофы всепланетного масштаба всё глубже впечатывались в родовую память реллеков. Беспрецедентный, необъяснимый для своих же носителей страх конца света стал архетипом, прочно вошедшим в сознание этих существ. Страх этот передавался из поколения в поколение, делая «шаг назад — два вперёд» — уменьшаясь за время спокойного существования и многократно усиливаясь после очередного катаклизма. Вместе со страхом росло и стремление избавиться от этого недуга, хотя бы частично. Это-то, в конце концов, и привело к изобретению даларги незадолго до тридцать четвёртого визита мюввонов.

Классическая даларга имела вид тяжёлого, совершенно неказистого куба из особого, крайне прочного материала серого цвета. На первый — да и на тысячный — взгляд она производила впечатление каменного постамента или идеального стройматериала. Но от одного лёгкого прикосновения живой плоти пять из шести граней даларги оживали, превращаясь в экраны с одним и тем же меню, рассчитанным на сенсорное управление. Пять экранов были созданы, очевидно, для возможности пользоваться одной даларгой несколькими реллекам сразу.

Внутренность же даларги была не в пример сложнее внешности, в совокупности представляя собой огромный электронный мозг, который, несмотря на хитрое устройство, был почти так же прочен, как и стенки. Его основной частью был огромный накопитель информации, способный уместить в себе все необходимые сведения о цивилизации реллеков. Эту информацию даларга и выводила по запросам на свои пять экранов. Загрузка же сведений в накопитель осуществлялась через гнёзда в шестой стенке. Однако, чтобы эти отверстия появились, необходимо было особым образом провести ладонью по грани. Как именно это сделать — знали только единицы из числа ученых.

Первые даларги имели множество недостатков. К примеру, в экспериментальную серию не были добавлены даже сведения о том, как, собственно, изготовить саму даларгу, что привело к её «переизобретению» в следующем цикле цивилизации. На начальных порах даларги были гораздо компактнее, но питались от капсулы с радием, чей срок полураспада был слишком короток, чтобы вывести реллеков из невежества. Позднее радий заменили ураном, что и привело к увеличению тяжести и размеров, но сделало даларгу практически вечной. Имелись также недостатки в обучающей программе — реллеки плохо представляли, насколько недалёкими могут быть их потомки. Наконец, свою лепту в развитие технологии вносил «человеческий» фактор. Некоторые учёные, которым доверили грузить информацию, порой из

шутки загружали в даларгу мусор.

Тем не менее, прогресс шёл. Была улучшена до предела прочность конструкции. Усложнена защита от несанкционированных посягательств. Правительственные психологи тщательно проверяли тех, кому предстояло закачивать данные в куб. Наконец, даларгу стали производить со смещённым центром тяжести, чтобы в случае падения она падала на шестую грань.

Однако, сведения о мюввонах не присутствовали в даларгах вплоть до сорок седьмого визита.

В целом, это понятно: когда мир вокруг стонет и умирает — редко кому удаётся сохранить хладнокровие, чтобы заняться научной работой. Но основная причина всё же в другом. Просто среди выживших реллеков не было ни одного учёного, имевшего доступ к даларге. «Защита от дурака» играла злую шутку. Многие страстно хотели записать, высечь в этом вечном камне память о своих убийцах, но — не могли.

И вот, после сорок седьмого краха реллекской культуры один такой учёный всё же нашёлся.

Он выжил. Он нашёл даларгу. Он записал.

Расчёт реллеков был верным, несмотря на то, что они сделали его впервые за всю свою историю и вплоть до последнего сомневались в его правильности. Казалось, сама математика смеётся над ними. Повторные проверки... Тот же результат. Сомнения развеялись. Никаких ошибок. Один из

тех случаев, когда истина только помогает неведомому раскрыть ещё шире свою бездонную пасть.

На основе данных из даларг последних трёх циклов выяснилось, что мюввоны прилетают тогда, когда численность жителей Реллека становится равным числу 68718952447. Именно в этот момент и появляются из тёмных далей космоса смертоносные сферы. В то же время выяснился другой поразительный факт: каждый раз после визита мюввонов в живых на планете оставалось 12289 реллеков. А это значило, что не было никаких чудесных спасений — мюввоны заранее отбирали тех, кого катаклизм обойдёт стороной.

Выводы были шокирующими... и нелепыми.

Что значат эти числа? Почему они играют такую важную роль? По каким показателям отбираются 12289 реллеков? Для чего так стабильно возвращаться в течение многих тысяч лет? Зачем устраивать бойню? А главное — за что?

Никто не мог дать ответов.

Но теперь, когда страх перед уничтожением обрёл конкретную форму, он мутировал и стал образом жизни реллеков, а затем — превратился в религию, вывернув наизнанку их нравственные принципы. Темпы роста населения искусственно сдерживались строгими законами. Смерть стала благом, рождение — скорбью. Суицид воспринимался как жертвоприношение на алтаре нации. На детей смотрели как на убийц, а на убийц — как на героев. Безумие разрушало цивилизацию...

К счастью или нет, но длилось это не так уж долго. Ибо к власти пришёл реллек, который решил вернуть всё на круги своя, а заодно и разобраться с самой причиной безумия.

Понимая, что с таким менталитетом космическое будущее им не светит, этот политик оставил до поры до времени действующие законы, но сосредоточился на наращивании ядерного потенциала планеты. И только тогда, когда планета начала напоминать ощетинившийся ракетами гигантский ёж, законы об ограничении рождаемости были отменены.

И вот, в тот день, когда должен был появиться на свет 68718952447-ой житель планеты, начинённый ядерным оружием Реллек ждал незваных гостей.

Но мюввоны не явились.

В тот день родился и 68718952448-ой ребенок, и ещё несколько сотен. Тысяч. Но звёздное небо по-прежнему хранило молчание. И поначалу известие об этом была встречено бурным ликованием.

Однако, Реллек не сделал и нескольких оборотов вокруг оси, как на планете вспыхнула ядерная война.

Теперь уже никто и не знает её причины. То ли недовольство верховным правителем и стремление регионов к независимости. То ли религиозный фанатизм. То ли чудовищная ошибка того, кто первым нажал кнопку. То ли это всё-таки мюввоны...

Небольшие группы глубоко одичавших реллеков скрыва-

ются в недрах собственной планеты, надолго заражённой радиацией. Их гораздо меньше, чем 12289, но они всё ещё не вымерли. Многие их поколения никогда не видели неба и солнца. И если на стене пещеры реллеку встречается рисунок в виде остроконечной звезды, вписанной в окружность, — он долго стоит перед ним, не в силах понять, что это значит.

Я сидел, упёршись локтями в колени и подперев щёки ладонями. Мира сложила бумагу и сунула её в карман.

— Ладно, хорошо, — сказал я. — Допустим, всё это так. Но я не понимаю: какая тут связь с ней? — и показал пальцем в звёздное небо.

— Пока — никакой, — ответила она.

— Ты рассказала мне историю. Довольно страшную историю о злых существах...

— Кто вам сказал, что они злые?

Я моргнул.

— Монстры, устроившие геноцид на одной и той же планете сорок семь раз — не злые?

— Они злые только для жителей этой планеты.

— То есть... на других планетах — они души.

Она постаралась улыбнуться.

— Я о том, — сказала она, — что добро и зло — совсем не те понятия, которые следует применять к мюввонам.

Этой ночью мне спалось крепко. Похоже, сказалось недо-

сыпание. Несмотря на странноватый день, никакие мысли голову не будоражили. Воспоминания тоже словно куда-то ушли. Никаких образов или голосов. И лишь четыре въедливых, назойливых строчки не давали мне полностью опустошить сознание. Они повторялись вновь и вновь, нарушая, казалось, не только мою внутреннюю тишину, но и тишину ночного дома. И, несмотря на попытки, я не мог ни сменить пластинку, ни остановить их медленное, но бесконечное воспроизведение, ставшее моей колыбельной.

A rabbit falls away from me, I guess I'll crawl
A rabbit always smashes me, again I'll crawl
Tried to think what's over me, it makes me crawl
Then she runs away from me, faster than I crawl

3. ЖИВЫЕ И РАЗУМНЫЕ

Это опять случилось.

— Ну вот! — сказал Михай. — Совсем другое дело! Можешь ведь, когда хочешь.

Я как раз поправлял игрушки на верхней полке, и его восклицания едва не стоили жизни фарфоровому поросёнку.

Обернувшись, я предстал перед довольным начальником во всей красе: синяя выглаженная футболка без логотипа, чёрные брюки со строчкой. Зубы почищены — хотя полностью удалить следы никотина обычной щёткой не удалось.

Лицо выбрито, волосы приглажены. Само совершенство.

— На айтишника похож, — сказал Михей с улыбкой.

Но затем он перевёл взгляд вниз, и улыбка испарилась.

— Ох, Ник, Ник... — он покачал головой.

Вот так всегда. Моя неспособность следить за собой — в том, что я непременно что-то да забуду. Вот и теперь я стыдливо смотрел на свои ботинки, заляпанные вчерашней грязью. Как я мог не заметить? А очень просто. Размышления выключают меня из действительности настолько, что я в упор не вижу её очевидных ошибок.

Причём парадокс в том, что в процессе обувания я думал как раз о том, какое впечатление произведу на Михея. Представлял, как он обрадуется, увидев, что я следую его советам. А потом, в автобусе, я думал о мюввонах — откуда они, почему так выглядят, в чём их цель и что это вообще такое. А когда шёл от остановки до магазина — о том, что Берке нет что-то уж слишком долго. И всё это время серая грязь на носках ботинок была главным объектом наблюдений моего опущенного взгляда.

Воистину, рассеянность — высший уровень сосредоточенности. Только не на том, на чём требуется.

— Погоди-ка, — сказал Михей.

Он полез за пазуху и достал из кармана рубашки носовой платок.

— На вот, смочи и протри.

Я робко принял дар. Открыл бутылку с водой и, приставив

платок в горлышку, перевернул её пару раз. А после начал чистить ботинки.

Вообще-то, весь этот сыр-бор с внешним видом я затеял лишь потому, что разочаровался в своей бороде. Как я вчера убедился, она не делает меня старше или brutальнее в глазах гопников. Чего уж говорить, если до сих пор незнакомые люди, просящие закурить, зовут меня парнем, пацаном, молодым человеком, но никак не мужчиной. Да и надоела сама по себе поросль, постоянно впитывающая жир от пищи. Потому я её и уничтожил. Ну а, побрившись, уже решил привести в порядок всё остальное.

— Как там было? «Малолетний дебил»?

Михей прыснул, и я понял, что он будет подкалывать меня этим случаем ещё несколько недель — пока шутка не станет пресной или не будет перечёркнута свежим эпизодом. Все мы снимаем свои сериалы, и кому-то больше нравится смотреть чужие. Иногда мне кажется, что Михей не увольняет меня как раз из-за таких инцидентов. И это порождает во мне двойственное чувство — то ли я для него герой, то ли нерд для развлечения. Скорее всего, всё вместе.

Иногда он зовёт меня выпить пива. То в клуб, то в кафе, то просто так — погулять или посидеть на лавочке после работы. Но на все эти просьбы я отвечаю отказом, объясняя причину.

Однажды в студенчестве я поспорил с соседями по комна-

те, что смогу выпить пол-литра за полчаса — и не опьянеть. Поспорил просто так, ни на что. Наверное, из желания самоутвердиться. Ведь это очевидная глупость — пить в первый раз и спорить, что ты сильнее неведомого.

Бутылку я опустошил за двадцать минут, запивая водку сначала апельсиновым соком, затем — томатным. Потом меня попросили пройти по прямой линии до двери, что я с успехом и сделал. Пари было признано выигранным. Если, конечно, не считать выпавшей из памяти ночи, когда, судя по слухам, я ползал по комнате на коленях, гоняясь за испуганными девчонками. И если не считать пробуждения в кровати, замызганной вонючей жёлтой жидкостью с кусочками съеденного накануне сыра.

Встал я трезвый, как стеклышко. Из рта разило перегастром, но ощутить на себе такую штуку, как похмелье, мне, к счастью, так и не удалось. Ибо именно после этого случая у меня возникло какое-то подобие иммунитета к алкоголизму. Маленький глоток вина на похоронах чуть не вывернул меня наизнанку. От одного запаха спирта меня начинает мутить до головокружения. А более всего мне не даёт покоя обилие этой дряни в парфюмерии. Благоухание для других — обращивается для меня тошнотворным смрадом. И каждый раз, проходя мимо надушенной женщины, я заполняю свой разум оглушительным воплем: какого чёрта вы пахнете не цветами? это что, подсознательное привлечение алкоголиков?

Довольно быстро после знакомства с Михеем я усвоил две особенности его поведения. Выпить он зовёт тогда, когда переживает разрыв с очередной подружкой. Интересоваться же моей жизнью он начинает в тот момент, когда завязывает отношения с другой.

У меня вызывает уважение та особенность Михея, что он не является типичным альфа-самцом или пикапером. Ничего подобного. Хотя в его постели побывал целый табун красивых — и не очень — женщин, каждую такую связь он переживает с романтичностью юноши. Когда он влюблён, то одновременно и весел, и задумчив. Он пишет стихи, он дарит цветы — и их принимают. В кульминации он становится полным идиотом, распеваяющим прямо на улице любовные песни, которые, несмотря на попсовость и фальшивость исполнения, вызывают улыбку даже у меня. А разрыв он переживает так же глубоко, как и влюблённость. Пожалуй, даже слишком глубоко, чтобы это чувство можно было измерить суммарным объёмом нескольких десятков бутылок. Как бы то ни было, длится это недолго, и уже через неделю Михей предстаёт передо мной в своём обычном, строгом виде, в тёмных очках, скрывающих следы бессонного пьянства. Первое время ко всему придирается, потом остывает и почти перестаёт со мной говорить. Его внутренний хронометр вновь настраивается на ожидание душевной весны.

На данный момент Михей как раз находился в этом своём наиболее стабильном, но скучном состоянии. Хотя, если

судить по дружелюбному настрою, на горизонте, возможно, уже показалась чья-то белая шейка и длинные ноги. А если так, то вскоре меня опять ожидает настойчивый вопрос, чью риторическую версию я вчера уже услышал:

«Ник, так чем же ты занимаешься дома?».

Конечно, я могу рассказать ему о своих увлечениях. А после дополнительных вопросов — поведать о таинственных вещах вроде Тёмного потока или Великого аттрактора. Возможно, он даже что-то поймёт. А если даже не поймёт, то всё равно будет искренне восхищаться — как мною, так и устройством мироздания. Иногда меня так и подмывает прочесть ему лекцию, но каждый раз я в корне пресекаю эти попытки, задавая себе единственный вопрос: зачем? Его любопытство диктуется следствием влюблённости — желанием передать добро по кругу, осчастливить ближнего своего вниманием и мягкосердечием. Возможно, это и жажда знаний, но эти знания будут сметены приближающимся любовным угаром. А если не будут — то навсегда изменят его представления о мире. Канатоходец, задумавшись, упадёт в чёрную бездну. А я не хотел бы видеть такого Михея.

Так что на все его расспросы о моей личной жизни я неизменно отвечаю:

— В основном — мастурбирую.

Что, как ни крути, является правдой.

Но, несмотря на неизменность, этот ответ никогда не надоедает Михею, вызывая у него сдавленный смех. Похоже,

он и спрашивает только ради того, чтобы ещё раз услышать эти слова из моих уст. Убедиться, что всё в порядке. И я внутренне ухмыляюсь, подтверждая: да, всё путём, о прекрасный ты идиот.

Холодно, но не до пупырышек. Осенние лучи слабо греют лицо, а спину обдувает мелкий посланник зимы. Все работы сделаны, а усталости никакой. Сны под солнцем — о дороге через зелёное поле. Остаётся дожидаться вечера.

Я сижу на крыльце, закрыв глаза, и думаю. И слушаю мурчание Бони. От этих звуков вибрирует, кажется, всё моё тело, а в животе просыпается лёгкий, щекочущий голод. Но Бони не спит. Я вообще ни разу не видела его спящим. Вот говорят же, что только дремлют. Так Бони даже этого не делает. Как ни шпионь, но его глаза всегда открыты, а взгляд столь сосредоточен, что кажется слепым.

Голова моя слегка раскачивается в такт мурчанию, и мне не хочется это прекращать. Я вспоминаю вчерашний вечер и ночные кошмары, которые вовсе не кошмары. И в бессонной дремоте мой разум плывёт в бесконечном течении образов: камень, шляпа, дирижабль, лист, старуха, дверь...

А тогда, в первую встречу, он меня сильно напугал. Случилось это через пару дней после отъезда папы и ма-

мы. Захотела одежду вывесить. Открываю уличную дверь и вдруг вижу — глаза. Огромные глаза на чёрной морде. Я вся вздрогнула и чуть таз не уронила, а он даже хвостом не повёл. Будто и не заметил меня. Будто вообще смотрел в эту точку целый час до моего выхода. Лежит себе в позе сфинкса — разве что лапы под грудь поджал — и сверлит взглядом пространство. Сквозь воздух, сквозь мой дом и всю планету — смотрит на какую-то необычную букашку у самого края Вселенной.

Это-то меня и удивило. Серьёзный такой взгляд. Серьёзнее, чем у любого человека. Люди вечно щурятся, разглядывая всякие мелочи у себя под носом. А вот распахнуть их во всю ширь, собрать свет далёких миров, как линза телескопа...

Я прошла мимо и обернулась. Но увидела лишь уши торчком над кляксой его абсолютной черноты.

Так и не поняла, чей он и откуда взялся. Странный пришелец со стеклянным взглядом. Даже имени нет, пришлось самой выдумывать, а в голове как раз вертелось: Бониферетус Альтамиррен. Да ну, говорю себе, слишком длинно.

Хотя какая теперь разница? Он на него так и не откликнется. И вообще не считает меня своей хозяйкой, хотя каждое утро встречает возле миски с запахом вечернего корма. Много раз его домой приглашала — ни в какую. Из рук не вырывается, но едва отпустишь — тут же дёру к двери. Но не хнычет и не канючит. Просто сядет и ждёт, когда ручку

повернут. Иногда кажется, что он вообще немой. Всё, что я слышу от него — мурчание. Вот как сейчас, когда почёсываю ему шею под мордой. Вообще, это всем нравится. И собакам, и кошкам, и птицам... интересно, а людям? Да даже динозаврам, наверное. Но Бони и тут равнодушен. Ни томности, ни раздражения. Я вообще для него не существую. Кормлю, глажу, щекочу, но — не существую. Он — йог, вокруг которого тридцать три года пляшут обнажённые танцовщицы.

Странное это состояние — жить одной и без гостей. Все вокруг потихоньку становится странным. То, чего не замечаешь, пока рядом родители, — выходит вперёд, бросается в глаза, пронзает мысли и... пугает. Словно взросление наоборот. Первая боль в жизни даёт понять, что твоя воля не безгранична. Что мир живёт по своим законам. Одинаковым для всех. Но что, если бы этой боли просто не было?

Я закрываю глаза и медленно-медленно приближаю пальцы к стене. И разум обжигает уверенность, что они не ощутят прикосновения. Никогда. Я пройду сквозь стену, попаду в другую комнату и пойду дальше — сквозь дома, машины, людей. И ни разу не удивлюсь. Потому что это должно быть легко. Так же, как и дышать. Так же, как и летать.

Или ложусь поперёк кровати, прислонив ноги к стене, и думаю, что верх — это низ. Шаги по белоснежному полу. Как же просторно и светло! И люстра у моих ног — будто экзотический цветок. И шторы колыхнутся, как платье Мэри-

лин. И шкаф тормашитя перед глазами, словно гигантский скворечник...

Или вот как вчера вечером. Сижу возле окна и читаю под настольной лампой. Час читаю, два. И вдруг краем глаза что-то замечаю. Что-то, чего быть не должно. Поворачиваю голову к окну, а там — лицо папы. Стоит, застыв, в зимней шапке и с трубкой в зубах. Улыбается. Я так вся и подскочила. Стул на пол, отбежала в угол и уткнулась туда лицом. И твержу себе сквозь дрожь: это неправда, этого не может быть. Папа на даче. Папа давно бросил курить. Папа не ходит осенью в ушанке.

Кое-как разворачиваюсь и смотрю в тёмное стекло. А там — ничего, кроме моего напуганного отражения.

И ведь нет ничего страшного в улыбающемся папе.

— Привет, дочка.

Я минут десять смотрела на мобильник, прежде чем нажала зелёную кнопку.

— Привет, ма.

— Ну, как у тебя дела?

— Да нормально...

— Кушать готовишь? Не питаешься, надеюсь, одними бутербродами?

— Я же тебе фотки отправляла.

— Да мало ли. Может, один раз сготовила... Денег много осталось?

— Много. Я всякую ерунду не покупаю.

— Молодец.

Я услышала звук, как будто отпили чай.

— А вы когда приедете?

— Не знаю. В школу, видимо, тебе самой придётся собираться. Сможешь ведь?

— Конечно. Ерунда какая. А папа что делает?

— Да всё покупателя ждёт.

От этой фразы у меня внутри всё похолодело.

— Он его нашел? — спросила я.

И всей душой молила: нет, только не теперь.

Не завтра и не послезавтра. Не этой осенью. Пусть будет так же, как в прошлый год. И в позапрошлый. Долгое томительное ожидание, а потом облегчённое: ну ладно, может, в следующий раз. И, засыпая в эту ночь, я буду тихо визжать под одеялом от счастья, чувствуя себя ведьмой, которой вновь удалось колдовство.

— Нет, но ищет, — сказала мама. — Говорит, что в этот раз уже не отступится и не приедет, пока не продаст. Так что, может быть, я скоро одна приеду, проверю тебя, а потом уеду обратно.

— Ясно, — ответила я.

И сама не знала, радоваться или горевать.

— У тебя точно всё хорошо? — спросила мама.

— Мама, ну хватит уже...

— По вечерам, надеюсь, не шатаешься? Смотри, не забы-

вай дверь на ключ закрывать. Всякие алкаши ходят.

— Да не гуляю я, мама.

Но как же тогда он? Как он с этим живёт? Я безо всех лишь две недели, но уже понимаю, как это страшно и прекрасно. Красивое безумие. Вот к чему идёшь. К чему стремишься всей душой, не понимая самой цели. Конечно, есть работа. Может, только она его и спасает против воли. Но всё же. Ведь надо же общаться с кем-то. Иметь кого-то рядом. Вот у меня — хотя бы Бони. А у него, похоже, нет даже комнатных цветов.

И тут меня осеняет. Подвижная карта звёздного неба. Ещё раз проследив взгляд Бони, я понимаю, что он смотрит в ту самую точку.

Я беру его за подмышки, разворачиваю к себе мордой и спрашиваю:

— Ты ведь смотришь на него?

Бони молчит и продолжает монотонно мурчать. И хотя его зрачки, расширившиеся от тени, теперь уставились на меня, я всё равно не чувствую контакта.

— Вы очень похожи, — с улыбкой добавляю я и опускаю кошачье тело обратно на колени.

И мы сидим дальше, но теперь наши взгляды параллельны. Я старательно подражаю ему, стремясь превратить свой луч зрения в действительный луч, равнодушный к любой

преграде. Конечно, мне это не удаётся, но я продолжаю смотреть. И смотрю, пока всё вокруг, включая Бони, не расплывается у меня перед глазами в тумане, похожем на воздух, колышущийся над пламенем. Я знаю, что вскоре грядёт головная боль, но не останавливаюсь. Ибо чувствую: скоро, очень скоро, всего на мгновение, но сквозь эту кипящую прозрачность я увижу Цулаккэ — безмолвное божество ледяной планеты.

Сидел и наблюдал из окна за огромной лужей, медленно выгорающей под августовским солнцем. Прносящиеся машины помогали процессу, выплескивая из неё воду на нагретый асфальт. Гадал, успеет ли высохнуть до заморозков. Если бы не было дождей — пожалуй.

Мимо медленно проехала пятитонка с рекламой на весь бок: белый недостроенный многоэтажный дом, а над ним — гигантская фигура человека в белом халате, держащая в хирургических щипцах раму со стеклом. Лицо, прикрытое маской, смотрело на меня холодным взглядом голубых глаз. Снизу, в правом углу, большими цифрами — два шестизначных телефонных номера.

Очевидно, целью картинки была демонстрация аккуратности и щепетильности строительной фирмы, а если бы к рекламе прилагался слоган, то он звучал бы как-нибудь по-иди-

отски скучно. Вроде: «Мы следим за здоровьем Вашего дома!». Однако, эффект создавался прямо противоположный: складывалось впечатление хрупкости конструкции, её игрушечности и параллели с карточным домиком.

Покупателей, как обычно, не было, и поэтому я сидел и размышлял о таких маленьких вещах, над которыми, как правило, никто не задумывается, но которые часто задевают меня помимо воли своим неистовым выходом на первый план.

Многие ли при взгляде на эту картину чувствовали то же, что и я?

Как много людей, увидев её, решили позвонить по одному из шестизначных номеров?

Существует ли где-то такой же дом, что и на картине?

Чьё лицо послужило натурой для этой рекламы? Где сейчас этот человек? Жив ли он вообще? А если да — что он чувствует, видя своё лицо разъезжающим по улице?

Что скрывается под маской? Хитрая улыбка? Тонкие, хладнокровные губы? Или, быть может, добрая грусть?

Или же это лицо — чистый плод фантазии художника? А если да — то как тот смог его выдумать? Собрал черты разных людей? Увидел во сне? А если изобразил человека, которого никогда не видел — существует ли это человек на самом деле? Или, быть может, он жил когда-то, безвестный, на этой планете, и только воображение художника вернуло нам

его лицо в виде слоя краски, нанесённого на бок машины?

Я сидел и задавал себе один вопрос за другим, прекрасно понимая, насколько это бессмысленно и никому не нужно. Никому — кроме меня. Я мог бы позвонить по шестизначному номеру и узнать, чьё это лицо. Может, и не сразу, но узнал бы. Но что бы мне это дало? Я бы услышал, что это какой-то знакомый директора компании. Сорока с лишним лет. Жив, здоров и работает на международных перевозках. Что-то типа этого.

И это совсем не то, что мне было бы нужно.

Нет.

Этот человек был бакалейщиком. В далёком городе на западе. Где-то в Восточной Европе. Полтора столетия назад. Носил бороду, хотя и не был стар. Имел жену, двух сыновей и любимую дочь. Дела у него шли когда как — соответственно этому менялось и настроение. Но лавка ему нравилась, и он не променял бы её ни на какую другую работу. Большинство соседей уважали его, ненавидела разве что пропойная чернь, сама всеми презираемая. Он пережил пару пожаров и несколько мелких грабежей. Завёл ружье, но никогда не брал его в руки. Каждое утро он открывал двери лавки, вдыхал её запах и улыбался. В зимнюю пору на кружку горячего чая к нему заходили близкие знакомые и странствующие торговцы. А в пору летнего зноя он в одиночестве сидел внутри,

потягивая прохладный сидр и читая газету.

В целом, человек этот был доволен жизнью. А многие, глядя на него, сказали бы, что не видели более счастливого мужа.

И только по вечерам, когда на город опускалась тишина, нарушаемая лишь отдалённым цокотом копыт по мостовой и жужжанием мух над пахучими овощами, душу этого человека посещала тоска.

Закончив подсчет выручки, он садился на полено возле своей лавки, держа в одной руке счёты, а в другой — зажжённую папиросу. Глубоко затягиваясь, он позволял прохладе обнимать его вспотевшее за день тело. Взгляд его был устремлён вверх, на первые звёзды. И, глядя на них, он понимал, что чего-то в его жизни не хватает. Он чувствовал себя одиноким, хотя и знал, что скоро придёт домой, где его встретят жена, ужин и суматошные возгласы детей. Всё как всегда. Он согреется теплом своей уютной норы, и это глохущее чувство пропадёт до следующего вечера.

Но никогда — никогда оно не отпустит его насовсем.

Потому что одиночество это было особого рода. Он чувствовал его не только за себя, но и за всю семью. За весь город. За весь мир. Чувствовал с невероятной силой, но никак не мог объяснить себе — *перед чем* он его чувствует. И это бессилие усиливало тоску ещё больше, хотя и не делало её мрачнее. Нет, тоска была светлой. Она дарила его душе огромные руки. Огромные руки для огромных объятий, спо-

собных прижать к сердцу всё человечество, которое он так сильно любил в такие минуты.

Он думал о том, что было до него. А ещё больше — о том, что будет после. И рука с зажжённой папиросой лениво сделала несколько взмахов, разогнав костяшки счётов в четырёх рядах над полушками.

«Две тысячи четырнадцать. Хм...».

Он сделал ещё одну затяжку, пытаясь вытащить на звёздный свет какую-то мысль со дна своего онемевшего от чисел разума. И, когда это удалось, — он понял, что это даже не мысль, а самое сильное, самое заветное желание его сердца.

«Наверное, к тому времени мы больше не будем так одиноки».

В магазине было настолько тихо, что вибрация телефона произвела эффект не меньшей неожиданности, чем разрыв гранаты при прогулке в парке. Я вздрогнул и тут же забыл, о чём думал.

Посмотрел на название входящего звонка — слово, похожее на лепет и череду рукопожатий с поцелуями. Поднял телефон со стола и положил его на комплект детского белья, прикрыв его сверху ещё одним. Снова. В который раз ошибаясь, что отсутствие звука подарит мне покой.

Никогда не понимал выражения «ни о чём не думать». Эта фраза, так часто встречающаяся в литературе, неизмен-

но вызывала моё недоумение. Что это вообще значит? Как можно достичь этого состояния? Сон? Кома? Но это вовсе не ответы. Не помню момента, когда бы моё мышление прекращало работу. Даже в самом сонливом или болезненном состоянии я был способен на это. А с температурой под сорок два мозг работал даже мощнее обычного, отчего некогда и породил на свет краткий афоризм: болезнь — спираль жизни.

Сейчас мне очень хотелось вернуться в это состояние. Состояние озноба и покинутости. Под одеялом. Стуча зубами. Не в состоянии согреться. И весь мир — фиолетовая тьма. И тишина, нарушаемая лишь глухим шумом улицы. И я наедине с миром, и как никогда к нему близок. Всё как в детстве...

С возрастом я стал думать не реже, а просто медленнее, а собственные мысли стали мне куда менее интересны, чем раньше. Желания их запомнить и тем более — записать — почти не возникало. Прошла черед бессонниц, когда молодой ум в ночной тишине искал ответы на извечные вопросы мироздания. Прошла пора, когда идея, озарившая разум, не давала ему покоя долгие месяцы, заполняя всё существо до полного отстранения от происходящего вокруг... Всё это исчезло. Исчезла усидчивость — пришла раздражительность. Чтобы сконцентрироваться на чём-либо, теперь требовалась целая медитация, далеко не всегда приносящая успех. Отвлекающие действия ошибочно воспринимались как средства на пути к успеху, а спина чувствовала открытую дверь

даже там, где была лишь стена.

Порой я винил в этом город и его бурный ритм. Порой — сигареты. Или музыку, ставшую наркотиком, не выводимся из тела даже при отсутствии подкрепления. А порой и просто возраст. Ибо причина, являвшаяся наиболее правдивой из всех возможных, не могла дать мне успокоения.

Мой разум заболел гибрисом.

Наступил период некой опричнины в государстве сознания, его размежевание на две неравные части. Земщина занималась сбором информации из окружающего мира, оставляя на своей территории самое дешёвое — математику и графику. Количество денег, цены на продукты, номера телефонов, имена людей, названия улиц, кухонные рецепты, размер обуви... вся эта мертвь задерживалась на границах страны мышления, ибо не представляла интереса для царька, спокойно засевавшего в самом центре бушующего океана сведений и постоянно требующего, чтобы к его ногам кидали самое живое, самое драгоценное — произведения искусства, большую часть которых он признавал негодным материалом и отсылал обратно с пометками: «Отстой», «Уже было», «Неоригинально», «Бледная копия шедеврального...», «Клише», «Недостойно»... И чем старше становился этот царек — тем сквернее становился его характер, тем больше слюны падало из хрипящего рта на властный подбородок, и тем жидче становился поток золота в казну, а новых экстазов едва хватало на расходы забвения. А само золото от неудо-

мимых прикосновений медленно превращалось в глиняные черепки. Утрата, утрата...

Я приподнял бельё.

Экран был мёртв. Я взял телефон в руки, проверил входящие и насчитал пять вызовов с минутными промежутками между ними. 14:21, 14:22, 14:24, 14:25, 14:27. Часы на телефоне показывали 14:29.

Едва я закрыл вкладку входящих, как телефон завибрировал прямо на ладони, снова заставив меня вздрогнуть.

Я заколебался. Ибо чем больше звонков ты пропустил — тем тяжелее прерывать этот марафон молчания. Однако, мысль, что это может быть что-то срочное или даже тревожное, поборола мою нерешительность.

— Аллё.

— Здравствуй, сынок.

— Привет, мам.

— Почему трубку не берёшь?

— Да у меня на вибрации, не заметил.

Молчание.

— Ну, рассказывай. Почему не звонишь-то? Хоть бы раз в месяц поинтересовался.

— Да я сколько раз хотел, но все забываю... — я подкрутил головку наручных часов, хотя они и работали от батарейки. — Ну как вы там? Как здоровье?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.